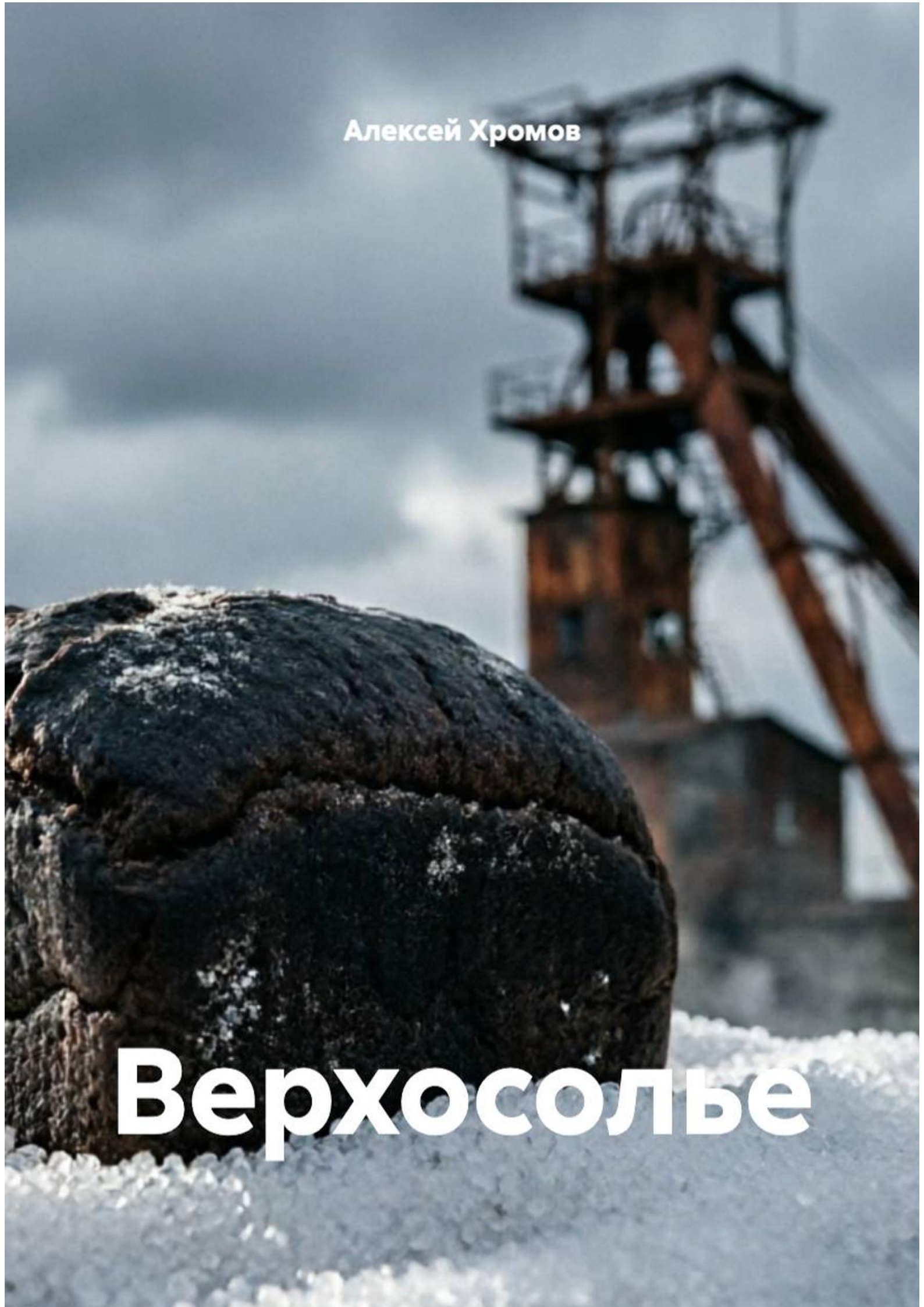




Алексей Хромов

Верхосолье

Алексей Хромов

Верхосолье

«Автор»

2026

Хромов А.

Верхосолье / А. Хромов — «Автор», 2026

Верхосолье стоит на соляном руднике, а рудник стоит на пустоте. Двенадцатого апреля 1986 года в четвёртую панель пришла вода. Девять человек успели выйти и закрыли за собой гермодверь. Девять — не успели. Тридцать лет спустя город расселяют: земля больше не держит. За месяц до автобусов следователь Марк Лапин приезжает разобраться с провалом во дворе жилого дома — и застаёт городок, где за тридцать лет не случилось ни одного убийства, зато двести шесть человек ушли сами. Где по четвергам собираются в кабинете номер четыре бывшего медпункта. Где одиннадцать семей тридцать лет по очереди, по графику, покупают крупу, свечи и батарейки — и уносят их в мёртвый лес, к заваренному стволу, каждый своей тропой, чтобы не натоптать. Одиннадцать семей. Девять погибших. Лапину предстоит понять, откуда взялись лишние две — и почему в этом городе на любой вопрос отвечают охотно, а на вопрос «во сколько именно?» замолкают все. Роман о вине, которой нужно место. И о том, что место всегда находится.

© Хромов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Глава 1. Четвёртое апреля	7
Глава 2. Двенадцатое апреля	14
Глава 3. Командированный	19
Глава 4. Круг	27
Глава 5. Поминальная соль	32
Глава 6. Справка	40
Глава 7. Одиннадцать	45
Глава 8. Чердак	53
Глава 9. Шульгин	59
Глава 10. Двенадцатое октября	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Верхосолье

От автора

Верхосолья нет.

Есть Верхнекамье, есть калийные рудники, есть города, стоящие на пустотах, которые они сами под собой и выработали, и есть провалы, которые в этих городах случаются и которым дают имена, как дают имена ураганам. Есть люди, живущие над ними тридцать, сорок, пятьдесят лет и знающие про свою землю больше, чем им хотелось бы знать. В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году в один настоящий рудник Верхнекамья пришла вода, и рудник был потерян. Всё, что происходит в этой книге, там не происходило.

Геология здесь взята с натуры, а город и все его жители выдуманы от первой фамилии до последней. Совпадения имён, улиц и табельных номеров случайны, и если кто-нибудь узнает в этой книге свой подъезд, я прошу считать, что он ошибся.

Это детектив, и в нём есть тело, следователь и разгадка. Но написан он не про то, кто, а про то, куда девать.

Я много лет думал об одном простом наблюдении: люди ломаются не от того, что случилось, а от того, что случившееся некуда положить. Горю нужно место — как чемодану. Не дашь места — оно будет стоять посреди комнаты, и человек будет об него биться каждое утро, всю жизнь, и никогда не назовёт причины. И тогда любое место, самое неудобное и самое неправильное, оказывается лучше, чем никакое. Люди построят для своей вины сарай, поставят его на болоте и будут ходить туда по расписанию — потому что дом с сараем стоит, а дом без сарая нет.

Про это книга. Остальное — обстоятельства.

Читателю полезно знать про её устройство две вещи.

Первое. Здесь два способа рассказывать, и они чередуются. Часть глав написана обычной прозой, от лица человека, у которого есть имя, память и своё мнение. Часть — безличным настоящим временем, тем языком, каким составляют акты, наряды и справки: «производится», «устанавливается», «говорится ему». В этих главах нет рассказчика, и искать его не надо. Так говорит документ, и я не смог придумать честнее способа показать то, что в этом городе не сумел рассказать ни один человек ни одному другому человеку за тридцать лет.

Второе — и это обещание, которое я даю заранее, чтобы его можно было проверить.

В книге три главы, в которых происходит невозможное. Ни в одной из них ничего сверхъестественного не происходит. У каждого такого случая есть полное, скучное, физически исполнимое объяснение, и оно читателю дано — не в примечании и не в финале, а на месте, среди прочих подробностей, так что мимо него легко пройти. Я нигде не пользуюсь чудом, чтобы связать концы.

Но и обратного я не обещаю. Каждое объяснение закрывает всё, кроме одной детали. Всегда одной. Какой именно — в каждом случае разной, и я не буду показывать пальцем.

Есть в этой книге и то, что не объясняется вообще. Три или четыре вещи: пропавший человек, два ключа, одна батарейка. Я оставил их так намеренно. В настоящих делах всегда остаётся папка, которая не идёт в суд, и следователь её не выбрасывает, и через двадцать лет она лежит у него всё там же.

И последнее.

Соль — вещество, которое ничего не делает. Она не горит, не гниёт, не растёт и не портится. Она просто лежит там, куда её положили, двести миллионов лет, и на ней держится всё,

что сверху: кровля, вода, город, школа, дом на Первомайской. А потом кто-нибудь переводит её из одного разряда в другой одним движением карандаша по плану горных работ.

Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать до начала.

Дальше — двенадцатое апреля.

Глава 1. Четвёртое апреля

1

Телефон зазвонил в шесть сорок, и Валя, ещё не открыв глаз, успела подумать, что для матери рано.

Звонила не мать. Звонила Нина Аркадьевна, завуч второй школы, и говорила она так, как говорят люди, заранее решившие не пугать: медленно, с паузами в середине слов.

— Валентина Сергеевна, у нас во дворе яма.

— Большая?

— Я не знаю, как это называется. У нас во дворе не стало земли.

Валя села. Пол был холодный, как всегда в апреле, когда отопление уже сбавили, а на улице ещё минус. Она посчитала, не думая об этом: тапки, две штуки, оба на месте; стул; куртка на стуле; кобура в ящике; ключи на гвозде, три штуки на кольцо и один отдельно. Один отдельно она посмотрела дольше, чем остальные, и отвернулась.

— Детей увели?

— Первая смена приходит к восьми. Сейчас только дежурные и котельная.

— Никого во двор не выпускать. Никого. Я через десять минут.

Она натянула форменные брюки, свитер под китель, взяла со стола вчерашний бутерброд, который сделала себе с вечера и не съела, и, уже в дверях, сняла с него колбасу, съела колбасу, а хлеб положила обратно на тарелку. Тарелка была одна. Ложек в сушилке было девять — она их не считала, она их знала.

На улице стояла оттепель — та первая, апрельская, от которой в Верхосолье не становится ни светлее, ни легче. Снег осел и лежал по обочинам ноздреватыми грядами, и в срезе у самого асфальта был виден весь год: серая полоса, жёлтая полоса, опять серая, тонкая белая — февральская, когда фабрику останавливали на четыре дня. Снег здесь никогда не скрипел. Приезжие всегда замечали это первым и говорили об этом с таким видом, будто сделали открытие: слушайте, а у вас снег не скрипит. Им объясняли про соль. Они кивали и через день переставали слышать.

С севера, над крышами, стояли отвалы — три белые плоские горы, на которых с ночи ещё горели прожектора фабрики, хотя рассвело. Валя не смотрела в ту сторону. Она смотрела под ноги, потому что на Первомайской третий год не чинили тротуар и весной он вспучивался плитами.

До школы было четыреста метров. Она пошла пешком, а машину оставила у подъезда, и потом целый день жалела об этом ровно один раз — когда надо было сесть и закрыть за собой дверь.

Город в это время просыпался сверху вниз: сначала окна на пятых этажах, потом на четвёртых, потом внизу открывался ларёк у автостанции. От Тёплого через дворы тянуло паром — в апреле он держался до половины восьмого и шёл низко, вдоль земли, так что дома по Горняков стояли отрезанные по колено. Пахло, как пахнет здесь всегда в оттепель: мокрым бетоном, углём из котельной и ещё чем-то минеральным, чему приезжие не находят названия, а местные не находят повода искать.

У седьмого дома по Первомайской ей встретилась Люба Кожина с сумкой и сказала, что в магазин привезли молоко, и Валя ответила, что хорошо. Больше на улице никого не было. Позже, вспоминая это утро, она удивлялась, до чего долго — минут двадцать — город ещё ничего не знал, и как ровно, без всякого перехода, эти двадцать минут кончились.

2

Двор второй школы был длинный, вытянутый между спортплощадкой и котельной, и всю жизнь Вали в нём ничего не менялось: те же ворота без сетки, тот же турник, та же будка трансформаторной с надписью, которую закрашивали каждое лето.

Теперь в нём не было куска земли.

Дыра лежала между турником и углом котельной, ближе к котельной. Валя прошла по стеночке, встала на бордюр и посмотрела сверху. Провал был почти круглый, метра три с половиной в поперечнике, с одним обрушенным краем, где асфальт свисал вниз коржом и держался на арматуре. Края были свежие, не осыпавшиеся: земля не растрескалась, а просто кончилась.

От угла котельной до края было девять метров. Она посчитала шагами, потом посчитала ещё раз, обратно.

Внизу стояла вода. Не блестела — стояла, ровно, без всякого движения, и была не чёрная, как в колодце, а мутно-белёсая, будто в неё вылили молоко.

Пахло погребом и стиральным порошком.

— В шесть двадцать, — сказала за спиной Нина Аркадьевна. Она стояла в накинутах на плечи пальто и в туфлях. — Валера вышел котельную открывать и услышал.

— Что услышал?

— Он говорит, шорох. Не грохот, а как будто мешок сахара высыпали. И потом внизу вода — ух.

— Ух?

— Ух, — повторила Нина Аркадьевна виновато. — Я не знаю, как это записать.

— Так и запишем.

Валя достала телефон, сфотографировала провал с четырёх сторон, потом ещё раз с угла котельной, чтобы в кадр попала стена и труба, потому что провалы фотографируют с привязкой к строению, — этому её учили один раз, в две тысячи первом, и с тех пор больше никто не учил.

В багажнике у неё лежал моток сигнальной ленты. Ленты хватило на две трети периметра. Остальное добрали бельевой верёвкой из котельной, серой и жёсткой, всей в узлах, и физрук Валера вбивал колышки в мёрзлую ещё землю обухом топора, и на каждом ударе с турника ссыпался снег.

К половине восьмого стали приходить дети.

Они приходили с двух сторон — от автостанции и от Горняков, — и первые же, увидев ленту, побежали, а те, кто был позади, побежали за первыми. Валя стояла у ленты и говорила одно и то же, одними словами, потому что так проще:

— Идём в школу. Прямо в школу. Никто не задерживается, никто не подходит к ограждению, все идут в школу.

Они шли в школу и смотрели через плечо. Один мальчик, класса третьего, в шапке с помпоном, встал перед ней и спросил серьёзно:

— А это до самого низа?

— Это до воды.

— А вода до самого низа?

— Иди в школу, — сказала Валя.

Младшие классы выводили с восьми до восьми двадцати. Она стояла в вестибюле у гардероба и считала: три класса по коридору направо, три налево, потом вторые, потом третьи. Всего девять кабинетов на первом этаже. Дети шли по стенке, парами, с портфелями, как на пожарной тревоге, и учительницы говорили «спокойно, не бежим» тем самым голосом, каким это говорят двадцать лет подряд.

За гардеробом, в тупике коридора, был школьный музей — застеклённые стенды, вымпелы, макет комбината из оргстекла и фотографии выпусков вдоль всей стены, от шестидесяти четвёртого года и дальше, ряд за рядом, овал за овалом. Стёкла там протирали к каждому Дню

города, и в них отражался коридор. Валя простояла там, пропуская мимо себя четвёртый «Б», секунд двадцать, лицом к коридору и спиной к стеклу.

Четвёртый «Б» прошёл, и за ним шёл второй «А», и одна девочка отстала, потому что у неё расстегнулся портфель, и Валя присела, собрала с пола пенал, линейку и яблоко и всё это ей отдала.

— А правда, что там дырка до самого низа? — спросила девочка.

— Не до самого.

— А до какого?

— Иди, тебя ждут.

Девочка пошла и через три шага обернулась, и Валя увидела, что она не боится. Никто из них не боялся. Они выросли в городе, где земля иногда кончается, и им объяснили это в том же возрасте, в каком объясняют про горячий чайник.

Потом она пошла звонить в Березники.

3

В Березниках сказали: расчёт выйдет, время в пути два часа, дорога после Суши перемерзла и раскисла, так что, может, два с половиной. Спросили, есть ли угроза жилым зданиям. Валя сказала, что котельная в девяти метрах и что котельная отопливает школу и два дома по Горняков. Ей ответили, что поняли, и попросили обозначить периметр.

Периметр был обозначен.

В восемь сорок Валера принёс со склада алюминиевую трёхколенную лестницу и капроновую верёвку с курсов ГО, ещё в заводской упаковке, и сказал, что вниз ползет он.

— Вы ползете, — сказала Валя, — а я потом буду писать, зачем гражданский лез в необследованную полость.

— А вы, значит, не гражданская.

— Я при исполнении.

Он посмотрел на неё, как смотрят на человека, которого знают с четырёх лет, и стал вязать узел.

Лестницу опустили с целого края. Она встала не сразу — сначала ушла куда-то вбок, потом упёрлась. Валя обвязалась под мышки, дважды подёрнула верёвку, спустилась на две ступени и остановилась, чтобы посмотреть на стенку в упор.

Стенка была слоёная. Сверху — сорок сантиметров грунта с корнями, потом суглинок, потом полоса светлее, потом длинная белая жила, шедшая наискось и уходившая внутрь, и вдоль этой жилы всё было мокрое и блестело. Она тронула белое пальцем и, не думая, поднесла палец к губам.

Соль. Не та, что в пачке, а горькая, с железом, и от неё сразу стало сухо во рту, как после долгого крика.

Сверху сказали:

— Валентина Сергеевна?

— Спускаюсь.

Дальше воздух стал другой. Не холоднее — плотнее. Наверху, во дворе, было слышно, как гудит котельная и как в школе за двумя рядами окон одновременно двигают стулья, а на глубине двух метров всё это исчезло, и осталось только капание в стороне, справа, за стенкой, ровное и очень частое, как будто там что-то отсчитывали.

Она включила фонарь.

Вода стояла внизу неподвижно, и на её поверхности лежала плёнка, как на остывшем супе. Валя опустила ногу и поняла, что дна нет там, где она думала: лестница стояла на выступе, а от выступа шло дальше вниз, и вниз уходило черно.

Она встала на выступ. Воды было по щиколотку, потом, когда она сделала шаг, по колено. Сапоги промокли сразу, и вода была не ледяная, а просто холодная, и это оказалось хуже, чем если бы она была ледяная.

Свет фонаря доставал недалеко. Полость уходила вбок, под школьный двор, и там, куда луч не добивал, было не темно, а никак — как будто пространство в той стороне просто не предусмотрено. Стены были не земляные. Стены были в потёках, и потёки застыли натёками, слоями, как в пещере, и по этим натёкам вода когда-то сходила очень долго и очень ровно.

Валя повела фонарём вправо, туда, откуда капало.

Человек лежал в трёх шагах.

Он лежал на том же выступе, головой к ней, чуть на боку, и вода стояла ему по щеку — левая половина лица была под водой, правая над. Одна рука была вытянута вдоль тела, вторая подвёрнута. Он был в рубашке и в ватнике, и ватник разбух и разошёлся по шву на плече.

Первое, что Валя подумала, было: он чистый.

Потом она подумала: он белый.

Кожа у него была не серая и не синяя, а именно белая, ровная, слегка блестящая, и она нигде не была порвана. Она была натянута, как бумага на рамке: под ней очень чётко читались скулы, ключица в вырезе рубашки, сухожилия на кисти. Волосы лежали мокрыми прядями и были длинные, ниже уха, но подстриженные — кто-то стриг их, неровно и давно. Ногти на вытянутой руке были обрезаны коротко.

Глаз, который был над водой, был открыт и белый весь, целиком, без зрачка.

Валя стояла и светила ему в лицо, потому что рука с фонарём не двигалась.

Она не считала. Она обнаружила это позже, вечером, когда разбирала день по кускам: там, внизу, она не посчитала ничего — ни шагов, ни ступеней лестницы, ни капель. Впервые с шестнадцати лет счёт просто выключился, как выключается свет во всём подъезде, когда выбивает автомат.

Вода не двигалась. Плёнка на ней стояла ровно, и в плёнке отражался фонарь, и по краям выступа, там, где вода уже сошла и подсохла, лежала белая кайма в палец толщиной, и на воротнике ватника тоже была белая кайма, и в волосах, у самого пробора, белым было забито до кожи.

Рубашка на нём была старая. Воротник вытерся до основы, и в двух местах его штопали — аккуратно, мелким стежком, ниткой другого оттенка.

Рядом с его плечом, на выступе, лежало что-то белое, свёрнутое вчетверо и разбухшее от воды. Валя посветила туда и не стала трогать. Это была ткань. Больше о ней сказать было нечего — она лежала свёрнутая, как кладут в шкаф, а не как роняют.

У его правой руки, в двадцати сантиметрах, лежала батарейка. Пальчиковая, обыкновенная, с полустёршейся надписью. Она лежала на сухом, выше воды, и на ней тоже был белый налёт.

Валя присела, упёршись рукой в стенку. Стенка была мягкая и подалась.

Ему было не сорок и не шестьдесят. Это Валя поняла сразу и не смогла бы объяснить: возраст стоял на его лице не так, как стоит на лицах в Верхосолье, где мужчины к пятидесяти делаются одинаково жёлто-красными и одинаково тяжёлыми. Этого никогда не жгло солнцем. Этого никогда не жгло ветром с отвалов. Кожа у него была младше его самого лет на двадцать, и от этого лицо казалось не молодым, а невозможным — как вещь, вынутая из шкафа, где её сложили в другой стране и в другое время.

Она смотрела на его лицо ещё какое-то время — потом оказалось, что это было почти четыре минуты, потому что Валера наверху успел трижды крикнуть и один раз подёргать верёвку.

Она не сказала вслух ни слова. Она открыла рот и закрыла его.

Наверху крикнули в четвёртый раз, и она ответила, что поднимается, и голос вышел совершенно обычный, рабочий, и от этого ей потом было хуже всего.

4

Наверху пахло весной и котельной.

Валера подал ей руку и вытянул на асфальт, и она села на бордюр, потому что стоять было неудобно, и стала отвязывать верёвку. Узел набух и не шёл. Пальцы были в белом. Она вытерла их о штанину, и на форменной ткани остались две светлые полосы, которые потом не отстирались.

— Ну? — сказал Валера.

Собрались все: истопник, две уборщицы, Нина Аркадьевна, физрук, охранник Гена и человек шесть с улицы, которых никто не звал. Они стояли за лентой полукругом и молчали. Ни один не подошёл к краю.

— Там человек, — сказала Валя.

Никто не ахнул.

Позже, много позже, когда следователь из Перми будет по третьему разу спрашивать её, как реагировали присутствующие, она честно ответит: «Присутствующие вели себя спокойно», и он посмотрит на неё длинно и ничего не запишет.

Нина Аркадьевна прижала ладонь к горлу и спросила:

— Утонул?

— Не знаю.

— Господи. Господи, а кто?

— Не установлено.

Уборщица тётя Рая перекрестилась и сказала:

— Ну хоть не наш.

Валя подняла на неё глаза. Тётя Рая уже отворачивалась и застёгивала халат, и лицо у неё было такое же, как за минуту до этого.

— Двор закрыт, — сказала Валя, вставая. — Никто не подходит. Валера, лестницу оставь как есть, ничего не трогай. Нина Аркадьевна, вторую смену на сегодня отмените и напишите объяснение, что по моему требованию.

— А что писать?

— Что по моему требованию.

Она пошла со двора мимо ленты, мимо турника, мимо будки, и в спину ей никто ничего не сказал. Это было нормально: люди расступались перед формой всю её жизнь. Ненормально было другое, и она поняла это только на углу: за два часа никто не спросил её, как он туда попал.

Она дошла до дома, отперла машину, села и закрыла дверь.

На часах на панели было 9:31.

5

Стёкла запотели изнутри почти сразу.

Рация лежала на пассажирском сиденье. Она сказала её позывной в девять тридцать девять, потом в девять сорок шесть, потом в девять пятьдесят три, и между вызовами шипела ровно и негромко, как капало там, внизу, за стенкой.

Двигатель Валя не заводила.

Решётка обдува на торпеде состояла из вертикальных рёбер. Их было девять. Она посчитала их слева направо, потом справа налево, и оба раза вышло девять, и это было правильно, и от того, что это было правильно, ничего не стало легче.

Сапоги стояли мокрые в лужице на резиновом коврикe, и вода из них уже подсыхала по краям белым.

Через дорогу, у первого подъезда, женщина выбивала половик о перила. Удар, пауза, удар. Валя сосчитала до одиннадцати, потом женщина ушла, потом вернулась с другим половиком и начала сначала.

В десять одиннадцать она вытерла лицо рукавом, дважды, взяла рацию и нажала тангенту.

— Тридцать четвёртый, на приём.

— Тридцать четвёртый, где вы ходите? — сказал дежурный.

— По существу вызова, — сказала Валя. — Докладываю. Четвёртого апреля в шесть двадцать во дворе средней школы номер два, город Верхосолье, произошло обрушение грунта. Провал ориентировочно три с половиной метра в поперечнике, глубина по замеру четыре метра, на дне полость с рассолом. В полости на выступе обнаружено тело.

— Тело чьё?

Пауза была короткая. Валя потом много раз проверяла себя и каждый раз честно устанавливая, что пауза была короткая, потому что она успела за это время сделать вдох и ничего больше.

— Труп мужчины, — сказала она. — Личность не установлена. Возраст ориентировочно от сорока до шестидесяти. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не наблюдала. Прошу направить следственно-оперативную группу и специалиста, доступ в полость возможен только с использованием снаряжения.

— Приняли. Записываю: неустановленный мужчина.

— Неустановленный мужчина, — повторила Валя.

— Валь, — сказал дежурный уже нормальным голосом, — а он там давно?

— Не знаю.

— Ну а на вид?

— На вид, — сказала Валя, — он там недавно.

Она положила рацию на сиденье и посмотрела на телефон.

Два пропущенных. Оба от матери. Первый в семь ноль пять, второй в семь двенадцать.

Валя держала телефон в руке минуты полторы, потом положила его экраном вниз на панель и завела машину. Печка дунула холодным, и через девять рёбер обдува пошёл воздух, и стекло стало проясняться снизу вверх — сначала капот, потом двор, потом мужчина, стоявший на другой стороне улицы у мусорных баков.

Это был Пётр Ильич Кожин, семьдесят один год, пенсионер, Горняков, шестнадцать. Он стоял в расстёгнутом пальто, без шапки, с пустым бидоном в руке, и смотрел не на неё, а поверх крыш — туда, где над деревьями торчал ржавый копёр второго рудника, единственное, что видно из любой точки города.

Валя опустила стекло.

— Пётр Ильич.

Он повернулся и подошёл, и лицо у него было доброе и растерянное, как всегда.

— Валечка. Говорят, во второй школе провалилось.

— Провалилось.

— Глубоко?

— Четыре метра.

Кожин покивал, посмотрел на бидон, зачем-то переставил его в другую руку.

— Значит, вышел, — сказал он.

Валя ничего не ответила. Он этого, кажется, и не ждал: постоял ещё немного, сказал «ну, дай Бог», и пошёл к магазину, и шёл он медленно, аккуратно обходя лужи, как ходят люди, у которых сегодня ещё много дел.

Валя сидела и смотрела ему вслед, пока он не свернул.

Потом она достала из бардачка блокнот, открыла на чистой странице и записала, как её учили записывать со слов очевидцев, дословно и в кавычках, одно короткое предложение.

И только дописав, поняла, что не спросила его — кто.

Глава 2. Двенадцатое апреля

1

В ноль часов сорок минут клеть уходит вниз.

В клетки двадцать один человек. Они стоят плотно, лицом в одну сторону, потому что иначе не помещаются, и держатся не за поручень, а друг за друга. Свет в стволе идёт полосами: отметка, темнота, отметка, темнота. Отметок девять. Считать их — привычка, от которой не отучаются: человек, спускавшийся сюда двадцать лет, всё равно считает, хотя знает результат.

Внизу тепло. Наверху минус шесть и наледь на ступенях, а здесь плюс восемнадцать и сухо, и первое, что делают все, выйдя из клетки, — расстёгиваются.

Воздух пахнет не землёй. Он пахнет вымытым полом.

Соль здесь везде и ни в чём не участвует: она на почве, на кровле, на плечах, она хрустит под сапогом, она набивается в резьбу и в замки, она садится на ресницы. Её не замечают. Хлеб берут с собой в газете, а соли с собой не берут.

По околоствольному двору идут пешком до депо, дальше — электровозом. Двадцать одна каска, два аккумуляторных фонаря на бригаду сверх нормы, самоспасатели у каждого на поясе. Самоспасатели не проверяют. Их не проверяют никогда, потому что за одиннадцать лет работы рудника они ни разу не понадобились, а вещи, которые ни разу не понадобились, перестают быть вещами и делаются частью пояса.

В наряде на смену, в графе «задание», написано: выемка целика в камере девять, четвёртая панель.

Наряд подписан начальником участка. Против графы «основание» стоит прочерк.

2

Четвёртая панель — самая дальняя. До неё от ствола четыре с половиной километра, и последние девятьсот метров электровоз не идёт, потому что путь снят ещё в феврале и не восстановлен.

Камеры здесь высокие, метров по пять, и в свете фонаря кровля кажется не каменной, а стеклянной: слои идут волной, красное с белым, красное с белым, и волна эта неподвижна двести миллионов лет. Люди, работающие тут по двенадцать лет, на кровлю не смотрят. Смотрят приезжие и школьники на экскурсии.

Целик — это то, что оставлено. Между камерами стоят колонны нетронутой породы, и на них лежит всё, что сверху: кровля, вода, город, школа, дом на Первомайской. Целик не добывают. Целик — это часть пласта, которая переведена в разряд не-руды одним движением карандаша по плану горных работ, и с этой минуты она не деньги, не тонны и не план, а то, на чём стоят.

Целик в камере девять начали рубить восьмого апреля.

Об этом говорят так:

— Сказали рубить.

— Ну.

— Так и сказали?

— А ты сходи спроси.

Больше об этом не говорят. Комбайн заходит в колонну с южной стороны, снимает первый рез, самоходный вагон отвозит соль на конвейер, конвейер уносит её в сторону ствола, вверх, на фабрику, в отвал, в вагоны, в железную дорогу, в страну. Работа идёт нормально. За смену дают сто двадцать тонн, что на восемь тонн выше плана, и об этих восьми тоннах в конце смены будет отдельная запись.

В два часа десять минут проходчик Тиунов замечает, что на стенке в семнадцати метрах от забоя мокро.

Он трогает мокрое пальцем и пробует на язык, как пробуют все и всегда. Вкус обыкновенный. Соляной рудник течёт всегда — где-то капает, где-то потеет, и на каждый капёж заведена карточка, и по карточкам ведётся журнал, и журнал сдаётся ежемесячно.

Тиунов говорит об этом горному мастеру Мальцеву. Мальцев идёт, смотрит, кладёт ладонь на стенку, держит секунд десять.

— Давно так?

— Не знаю. Сегодня увидел.

Мальцев вытирает ладонь о штаны. На штанах остаётся мокрое пятно, которое к утру высохнет и станет белым и жёстким, и эти штаны потом будут лежать в шкафу двадцать девять лет невыстиранными, но об этом сейчас никто не знает.

— Отметь в журнале, — говорит Мальцев.

Тиунов отмечает в журнале.

Время — два часа двадцать восемь минут. Эта запись впоследствии окажется единственным документом, составленным в четвёртой панели двенадцатого апреля, и в ней будет три слова: «капёж, кам. 9».

3

В три часа сорок минут звук меняется.

Сначала это не звук, а давление: закладывает уши, как в клетки. Люди перестают делать то, что делали, и стоят. Комбайн работает ещё секунд двадцать, потом машинист сбрасывает обороты, и в наступившей тишине становится слышно.

Это ровный низкий гул, и он не приближается — он уже везде. Он идёт из кровли, из почвы, из-за спины. Он похож на то, как гудит в трубе, если открыть кран на весь дом.

Свет в панели мигает дважды и гаснет.

Остаются фонари на касках: двадцать один луч, и все они поворачиваются в одну сторону, потому что с той стороны идёт воздух. Воздуха здесь не бывает. Вентиляционная струя тут слабая, её задают в другую сторону, и человек, простоявший в четвёртой панели двенадцать лет, знает свой воздух как своё дыхание.

Воздух идёт сильно и пахнет вымытым полом.

Дальше — бегут.

Между забоем и сбойкой девятьсот метров. Это плохие девятьсот метров: рельсы сняты, шпалы лежат вразброс, кабель провис, и в трёх местах на почве навалена просыпь по колено. Люди бегут по этому в сапогах сорок третьего размера, спотыкаются, поднимаются, снова бегут, и никто не кричит, потому что на бегу не кричат, а дышат.

Ноги мокрые становятся на четвёртой минуте.

Вода тёплая.

Это единственное, о чём потом будут говорить все девятеро, каждый по отдельности, разными словами, в разное время, с разницей в тридцать лет: она тёплая. Не ледяная, как в реке, не холодная, как в колодце, — тёплая, чуть теплее тела, и от этого нельзя понять, поднялась она до колена или до бедра, потому что кожа её не отделяет от себя.

На седьмой минуте вода по пояс, и идёт она уже не по почве, а по всей выработке, как воздух, — то есть везде.

Она несёт кусками соль, обрывок конвейерной ленты, чью-то каску, банку, пустой ящик из-под электродов. Всё это обгоняет людей и уходит вперёд, к сбойке, потому что сбойка ниже.

Кто-то падает. Его поднимают за шиворот и за пояс, ведут дальше вдвоём, потом троём. Кто-то остаётся сзади, и это замечают, и не возвращаются, потому что вернуться означает идти против воды, а против такой воды не идут — это знает каждый, кто хоть раз пробовал войти в реку выше пояса.

Луч фонаря в воде не светит. Он лежит на поверхности белым пятном и никуда не проникает.

4

Гермодверь номер девять стоит в сбойке между четвёртой панелью и главным вентиляционным штреком.

Это лист стали в раме, полтора на два метра, с четырьмя клиновыми затворами и штурвалом посередине. На двери белой краской по трафарету написан номер, а под номером, ниже, кем-то от руки приписано: «не закрывать без команды».

Дверь никогда не закрывали. Её проверяют раз в квартал, смазывают, крутят штурвал в обе стороны и записывают, что она исправна.

К двери выходят по одному.

Первым — Пепеляев, за ним Кожин, за ним Вахрушев, потом Рыков, Лунегов, Чазов, Шульгин, Тиунов. Последним — Мальцев, потому что горный мастер выходит последним, это записано в инструкции, и Мальцев эту инструкцию сдавал в марте на «хорошо».

Их девять.

Вода идёт за ними в сбойку и стоит уже по грудь.

В сбойке есть телефон — аппарат в железном ящике на стойке, и трубка на витом шнуре, и этот телефон работает, потому что линия идёт по вентиляционному штреку, а вентиляционный штрек ещё сухой.

Мальцев берёт трубку и говорит с диспетчерской.

Он говорит короткими фразами, повторяя каждую дважды, потому что вода шумит и потому что диспетчер тоже повторяет. В диспетчерской в это время находятся четыре человека, из них двое стоят.

— Четвёртая тонет. Четвёртая тонет.

— Слышу. Люди?

— Девять у двери. Девять.

— Где остальные?

Мальцев поворачивается и светит назад, в сбойку. Луч упирается в воду.

— Не знаю.

— Кто конкретно?

Мальцев начинает называть, кого он видит, и это оказывается быстрее, чем называть, кого он не видит. Он называет восемь фамилий. Диспетчер записывает.

— Горев где?

— Который?

— Горнорабочий. Молодой.

— Не знаю.

Эта фраза — «который?» — будет позже стёрта из всех пересказов. Она не попадёт ни в один документ, потому что документов о разговоре не составляется, а магнитофона в диспетчерской нет с семьдесят девятого года, когда его сняли для актового зала.

В трубке слышно, как в диспетчерской кто-то говорит другому человеку что-то не в трубку. Потом диспетчер возвращается и произносит:

— Директор в панели. Спустился в ноль сорок с вами, пошёл в четвёртую.

Мальцев молчит секунды три.

— Понял.

— Отсекайте.

— Повтори.

— Отсекайте, — говорит диспетчер. — Есть команда отсекать.

Чья это команда, он не говорит, а Мальцев не спрашивает. В сбойке шум, и вопрос занял бы время, и после будет установлено, что в эту минуту в диспетчерской, кроме диспетчера, находились ещё трое, из которых один впоследствии переведён в Соликамск, второй умер в девяносто первом, а третий на все вопросы отвечал, что не помнит, кто где стоял.

5

Штурвал берут вчетвером, потому что одному не хватает.

Он идёт туго — не оттого, что заело, а оттого, что резьба забита солью, той самой, которую тут не замечают. Каждый оборот отдаёт в плечи. Оборотов нужно одиннадцать.

Считают вслух. Считает Кожин, потому что он стоит с краю и ему видно риску на штоке.
— Три. Четыре.

Вода в сбойке за это время поднимается ещё на ладонь. Она подходит к нижней кромке двери и начинает переливаться через порог в вентиляционный штрек — тонко, ровно, как из ванны.

— Семь. Восемь.

Кто-то говорит, что надо подождать.

Он говорит это негромко, и слышат его не все, и потом, много лет спустя, при опросах, четверо скажут, что этого не было, трое — что было, и один назовёт фамилию, а другой назовёт другую.

Штурвал не останавливается.

— Одиннадцать.

Клинья садятся в гнёзда. Затворы опускают по одному, сверху вниз, слева направо, как учили, и каждый затвор садится с одним и тем же звуком, и звук этот — короткий и высокий, будто чем-то маленьким ударили по чему-то большому.

Последним закладывают стопорный болт.

Впоследствии ни один из девяти не сможет вспомнить, кто именно его закладывал. Это единственное действие той ночи, которое не найдёт исполнителя ни в одном объяснении, ни в одной беседе, ни в одном разговоре на кухне за тридцать лет.

Дверь держит.

Вода бьёт в неё с той стороны — не толчками, а сплошным давлением, и сталь отзывается низко, и по всей раме выступает роса, и роса стекает вниз белыми дорожками, потому что это не вода, а рассол, и он высыхает быстрее, чем стекает.

Люди стоят в вентиляционном штрёке, по колено в том, что успело перелиться, и смотрят на дверь.

Стоят долго.

Ни один не поворачивается уходить, пока не поворачивается первый, а первый не поворачивается.

Потом Кожин подходит и прикладывает к стали ухо.

Он стоит так, прижавшись щекой к металлу, с закрытыми глазами, и все ждут. Вода шумит с той стороны ровно и толсто, и в этом шуме есть всё, что угодно.

— Там стучат, — говорит Кожин.

Мальцев подходит и слушает тоже. Потом слушает Рыков. Потом Шульгин, потом Тиунов, потом остальные, по очереди, и каждый прикладывает ухо к одному и тому же месту, чуть выше номера, и место это к утру станет чистым от соли, вытертым девятью щеками.

— Вода это, — говорит Мальцев.

— Стучат.

— Вода.

Кожин прикладывает ухо ещё раз, надолго. Ему не мешают.

— Ну, значит, вода, — говорит он.

6

Наверх поднимаются в две ходки, потому что клеть после аварийного отключения запускают на пониженной.

На поверхности минус четыре, ветер, и на площадке уже стоят двое из горноспасательного, приехавшие из Березников быстрее, чем кто-либо ожидал. Людей осматривают, дают

воду, отводят в ламповую. Никто не садится: девять человек стоят в ламповой вдоль стены, в мокром, и с них течёт, и на бетоне под ними расплываются девять пятен.

Фельдшер здравпункта приходит через двадцать минут. Он не задаёт вопросов и никого не осматривает, а расставляет по подоконнику девять кружек с горячей водой и говорит, чтобы пили мелкими глотками. Он говорит это тихо, и его слушаются сразу, потому что в ламповой в эту минуту он единственный человек, который знает, что нужно делать.

У фельдшера на руке часы. Больше часов ни у кого нет: под землёй часов не носят, они забиваются солью и встают.

В диспетчерской ведётся оперативный журнал. Записи в нём делаются шариковой ручкой, без исправлений, а если исправление необходимо, оно заверяется подписью.

В журнале за двенадцатое апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года есть строка:

04.30 — четв . панель отсечена , г/дверь № 9 закрыта . Личный состав смены на поверхности — 9 чел.

Никто из тех, кто держал штурвал, этой строки не видел. Их в это время ведут в баню.

Внизу вода продолжает подниматься. Она заполняет четвёртую панель, потом идёт по сбойкам в третью, потом в откаточный штрек, и уровень её к утру устанавливается на отметке, которую вычислят только в июне.

За дверью никто не кричит.

Дверь стоит в темноте, под водой с одной стороны и над водой с другой, и в стали её, если приложить ухо, слышен ровный толстый шум, который не прекратится больше никогда.

В восемь утра в ламповую входит второй фельдшер, сменный, и спрашивает, все ли девять на месте.

Ему отвечают, что все.

Глава 3. Командированный

1

За Березниками дорога стала одна.

До этого был выбор: две полосы, обгон, заправка с кофейным автоматом, зелёные щиты с названиями, куда можно было бы поехать вместо. После поворота выбора не осталось — асфальт в заплатках, лес по обе стороны, встречная машина раз в четыре минуты, и Лапин ехал за лесовозом одиннадцать километров, потому что обогнать его было негде.

Он ехал пятый час. В термосе кончился чай ещё до Усолья, и во рту стоял вкус термоса.

Приёмник лежал на пассажирском сиденье, поверх папки. Это был обычный коротковолновый приёмник, чёрный, с телескопической антенной, купленный в две тысячи двенадцатом году за три с половиной тысячи рублей, и Лапин возил его с собой везде, потому что в машине радио ловило только «Дорожное».

Он нашёл станцию сразу за поворотом.

Женский голос, ровный, без выражения, читал цифры по-русски, группами по пять. Между группами была пауза ровно в две секунды. Голос был записан — Лапин знал это, все это знали, — и записан он был давно, и женщина, которая его записывала, скорее всего, была уже старухой или умерла, а голос продолжал читать цифры.

— Восемь. Три. Ноль. Ноль. Два.

Смысла в этом не было никакого. Смысл был не в цифрах, а в том, что кто-то каждую ночь включает передатчик и отправляет их в темноту, не имея никакой возможности узнать, слушает ли его хоть один человек на земле. Лапин слушал такие станции с одиннадцатого года. Он никому об этом не говорил, потому что объяснить это было нельзя, а объяснять, не объясняя, он умел только на допросах.

В начале четвёртого часа позвонил Тюрин.

Лапин прижал телефон плечом, потому что связь тут держалась пятнами и переключивать было некогда.

— Едешь?

— Еду.

— Марк, я тебе скажу один раз, а ты меня услышь. — В трубке было слышно, как Тюрин что-то жуёт. — Материал сырой, экспертизы нет, город на расселении. Я тебе даю две недели, потому что дальше у нас Соликамск, а там четыре эпизода и потерпевшие живые.

— Понял.

— Что понял? Ты вечно понял. Там что вообще?

— Труп в провале.

— Криминал?

— Пока событие, — сказал Лапин.

Тюрин помолчал, дождался.

— Опять ты со своим «событием». Ладно. Две недели. Если там бытовуха тридцатилетней давности — ты её закрываешь и уезжаешь, а не строишь мне роман.

— В деле пока ничего нет.

— Вот и хорошо, что нет.

Связь пропала на середине следующей фразы, и Лапин не стал перезванивать.

За двадцать километров до города слева открылась вода.

Сначала он решил, что горит. Над водой стоял пар — не туман, а именно пар, плотный, белый, поднимавшийся столбами и уходивший вбок, и в апреле, при плюсе двух, это выглядело как пожар, у которого забыли сделать огонь. Лапин сбросил скорость.

Озеро было прямоугольное. Совершенно прямоугольное, с прямыми берегами, и это было противнее всего: пар над правильным четырёхугольником. Дальний берег в пару пропадал совсем, и оттуда, из белого, торчала одна труба.

Он остановился и вышел.

Было тихо. Слышно было, как в лесу за спиной капает с веток, и больше ничего: ни воды, ни птицы. Вдоль берега, у самой кромки, лежала полоса — он подумал, что это мусор, подошёл ближе на три шага и увидел, что это утки. Они лежали густо, штук сорок или пятьдесят, кряквы и чирки, некоторые на боку, некоторые на спине, лапами вверх, и все были целые, не тронутые, не растрёпанные, как будто их положили.

Лапин постоял, вернулся в машину и записал в блокнот: «шламохранилище, ~20 км до н.п., не замерзает».

Вопрос, почему не замерзает, он записывать не стал, потому что вопросы в блокнот не пишут.

2

На въезде стоял обелиск.

Это был куб — нет, не куб, а неровный блок метра в два, поставленный на бетонное основание, и Лапин сначала принял его за бетон тоже, а потом увидел, что материал живой: серо-розовый, полупрозрачный по краям, с прожилками, и на срезе он ловил свет так, как бетон не умеет. По основанию шла надпись бронзовыми буквами: СОЛЬ ЗЕМЛИ ПЕРМСКОЙ. Одна буква отвалилась, и от неё остались две дырки от штифтов.

Перед обелиском стояли три машины с лентами.

Лапин притормозил, потому что головная перегородила полосу. Из второй вылезали девушки в одинаковых платьях и в пуховиках поверх платьев, придерживая друг друга за локти, потому что вокруг основания было грязно и таял снег. Невеста стояла у самого блока. На ней тоже был пуховик, накинутый, а под ним белое, и подол она держала в кулаке, высоко, и снизу были видны кроссовки.

Она отпустила подол, наклонилась к камню и провела по нему двумя пальцами.

Потом поднесла пальцы ко рту.

Она сделала это очень быстро и очень буднично, так, как поправляют волосы, — и все, кто стоял вокруг, в ту же секунду занялись чем-то другим: жених смотрел в телефон, свидетель закуривал, водитель первой машины гудел. Никто на неё не смотрел. Ни одна из девушек не засмеялась.

Лапин объехал их по обочине и в зеркале увидел, что на боку блока, на высоте примерно её роста, есть углубление — ровная плавная выемка, будто в камне сидело что-то круглое и его вынули.

3

Верхосолье начиналось сразу.

Не было ни окраины, ни частного сектора, ни постепенности: лес, поле, знак, и уже пятиэтажки. Дома стояли лицом к дороге, штукатурка серо-жёлтая, балконы застеклены кто чем. Снег вдоль тротуаров лежал грядами, и в срезе гряды шли полосами — тёмное, светлее, тёмное.

Он ехал по улице Горняков со скоростью тридцать и смотрел по сторонам, как смотрят все командированные в первые полчаса, — то есть без всякой пользы, просто чтобы потом сказать, что видел.

Магазин «Магнит». Магазин «Пятёрочка». Аптека, закрытая. Аптека, открытая. Двухэтажное здание с вывеской «ДК Калийщик», у которого горела половина букв, и это была не поломка, а именно половина: горела правая часть, левая нет. Автостанция — навес, шесть скамеек, касса с окном, заклеенным изнутри плёнкой.

Он оставил машину у автостанции, потому что был голоден и потому что рядом торговали.

В киоске взял два пирожка с капустой и чай в пластиковом стакане. Чай был горячий насквозь, стакан обжигал, и Лапин держал его через рукав, стоя у столика на одной ноге, вкопанного прямо в асфальт.

Собака подошла на третьей минуте.

Она была рыжая, некрупная, с висячим ухом, и у неё не было задней левой лапы — не культя, а просто ровное место, зажившее давно и аккуратно. Она подошла и села в полутора метрах, и сидела прямо, не поскуливая, не заискивая, а как садятся в очередь.

Лапин отломил половину второго пирожка и бросил.

Она поймала не глядя.

— Не кормите, — сказала женщина из киоска, не поднимая головы. — Она у нас откормленная.

— Вижу.

— У неё четверо кормят. Кто чем.

— А зовут как?

Женщина подумала.

— По-разному, — сказала она. — Кто как назвал, тот так и зовёт.

Лапин допил чай, поставил стакан в урну и посмотрел на собаку. Собака смотрела на него. Она была совершенно спокойна, и в этом спокойствии было что-то нехорошее, чего он не сумел бы назвать: так спокойны бывают не сытые животные, а животные, которые твёрдо знают расписание.

4

Гостиница называлась «Заря» и занимала первый этаж жилого дома по Первомайской, семь.

За стойкой сидела женщина лет шестидесяти и смотрела телевизор, стоявший в углу на холодильнике. Шли новости. Лапин положил на стойку паспорт и командировочное и стоял, глядя в сторону, пока она переписывала.

— Одиннадцатый номер. Горячая с шести до двенадцати и с восьми вечера.

— Хорошо.

— Вы надолго?

— На две недели.

Она подняла глаза, оценила, кивнула. Диктор в углу сказал что-то про Сирию, потом заиграла заставка, короткая и бодрая.

— Извините, — сказал Лапин. — Можно потише?

Женщина, не оборачиваясь, взяла пульт и убавила до нуля. Картинка осталась.

— Вы откуда сами?

— Из Перми.

— А-а, — сказала она с уважением.

Номер был на втором этаже, окном во двор. Лапин поставил сумку, не разбирая, подошёл к окну и открыл форточку.

За стеной, в санузеле, гудело.

Он послушал. Это был не тот гул, какой бывает от стояка, когда наверху набирают воду, — этот шёл ровно, без изменения, низко, и в нём не было ничего периодического. Лапин постоял, потрогал плитку ладонью — плитка была холодная — и закрыл дверь в санузел.

Гул стал тише, но не прекратился.

Участковый ждала его у отдела, на улице, хотя было холодно.

— Рыкова Валентина Сергеевна.

— Лапин Марк Витальевич. Поедем сразу.

Она села за руль своей машины, он рядом. В салоне было чисто до странности: ни бумажки, ни стакана, ни зарядки, только на панели лежал блокнот и рядом ручка, параллельно блокноту.

— Через школу поедem.

— Там уже ничего нет.

— Всё равно.

Она свернула. Двор второй школы был перегороден по всей ширине сеткой на металлических стойках — не лентой, а нормальным строительным ограждением, поставленным за сутки, и это Лапин отметил: в Перми такое ставят неделю.

Провал был накрыт щитами, между щитами торчал шланг, и в глубине двора работал насос, и вода из шланга шла в ливнёвку. Она была мутно-белая и оставляла на асфальте белый след, и след этот тянулся до самой решётки.

Свет в школе горел на втором этаже, в двух окнах.

— Занятия идут?

— Со вчерашнего дня. Вторую смену отменили, первую оставили.

— Кто решал?

— Директор, — сказала Рыкова. — По согласованию с администрацией.

Лапин посмотрел на окна ещё секунд десять. За стеклом кто-то ходил вдоль доски.

— Далеко?

— Три минуты. Это при поликлинике.

Она вела аккуратно и молчала, и Лапин молчал тоже, потому что молчать он умел долго и знал, что почти любой человек за рулём начинает говорить на второй минуте. Прошла первая минута. Прошла вторая. Рыкова переключилась на третью передачу, потом на вторую перед ямой, потом снова на третью и не сказала ничего.

Он посмотрел на неё сбоку. Ей было около тридцати, лицо было усталое, и она вела машину как человек, который в этой машине спит.

— Вы его поднимали когда?

— Четвёртого, в двадцать один сорок. Раньше не могли, полость обводнённая, ждали снаряжение из Березников.

— Двадцать один сорок — это откуда?

— Из протокола осмотра места происшествия.

— А в протокол откуда?

Рыкова остановилась перед лежащим полицейским, переехала его на первой и только потом ответила:

— Так я его и составляла.

Трупохранилище было пристройкой к поликлинике, из белого кирпича, с отдельным входом и с двумя ступеньками, на которых стоял мешок с песком.

Внутри пахло хлоркой, и под хлоркой стоял ещё один запах, тонкий, сладковатый, который не перебивается ничем и который Лапин перестал замечать лет пятнадцать назад, а сейчас, после дороги, заметил.

В предбаннике за столом сидел эксперт и ел бутерброд.

— Звонарёв, — сказал он с набитым ртом, встал, вытер руку о халат и подал её. — Аркадий Львович. Я из Березников, меня сюда командировали, как и вас. Вы, кстати, четвёртый час моего рабочего дня, у меня их сегодня было четырнадцать.

— Часов?

— Часов. Трупов было два. — Он завернул остаток бутерброда в салфетку и убрал в карман халата, аккуратно, как кладут в карман билет. — Пойдёмте, пока я добрый.

Камер было две. Одна работала, вторая стояла с открытой дверцей, и внутри неё было темно и сухо.

— Эта с одиннадцатого года не морозит, — сказал Звонарёв. — Просили. Не дают. Он выкатил стол.

5

Первое, что увидел Лапин, была рука.

Она лежала поверх простыни, кисть чуть подвёрнута, и рука была неправильная. Не изуродованная — неправильная по составу. Кожа лежала прямо на кости, без всего, что бывает между, и в межпальцевых промежутках была впадина, и запястье было тоньше, чем бывает у взрослого мужчины. Ногти были обрезаны коротко и ровно, под самый край.

Звонарёв снял простыню.

— Мужчина. Рост сто семьдесят восемь. Вес сорок девять.

— Сколько?

— Сорок девять. Я тоже переспрашивал.

Кожа была белая. Не бледная, а белая, ровная по всей поверхности, одинаковая на груди, на плечах, на лбу, — и Лапин понял, чего в ней нет, только через несколько секунд. В ней не было границы. У любого человека есть граница, где кончается то, что видело солнце, и начинается то, что не видело. У этого не было ни того, ни другого.

— Загара нет, — сказал он.

— Нет. И не было, я думаю, долго. Дальше смотрите глаза.

Глаза были открыты и белые целиком — роговица помутнела сплошь, как вода в стакане, куда капнули молока.

— Это посмертное?

— Частично. Тут вам никто честно не ответит, потому что он в рассоле лежал. — Звонарёв взял со стола шариковую ручку и показал ею, не касаясь. — Мышцы смотрите. Плечо, бедро. Это не истощение от голода, я вам сразу скажу, подкожная клетчатка у него есть, скудная, но есть. Это атрофия от неподвижности. Точнее — от малой подвижности. Так выглядят люди, которые много лет мало ходят и мало поднимают.

— Лежачие?

— Не лежачие. У лежачих другое. — Он помолчал. — Такое я видел один раз, в девяносто седьмом, у человека, который девять лет прожил в комнате два на три и выходил в коридор.

Лапин достал блокнот.

— Кожа как бумага, — сказал он. — Это от воды?

— Это от соли. Он лежал в насыщенном рассоле, там процессы гниения почти стоят. Мягкие ткани обезвожены и просолены. Строго говоря, вы сейчас смотрите не на труп, а на продукт.

— Продукт чего?

— Консервирования, — сказал Звонарёв без всякого выражения. — Извините. Я четырнадцать часов.

Лапин смотрел на волосы. Они были длинные, до плеч, и в них у корней сидело белое, забитое до кожи.

— Волосы стриженные.

— Стриженные. Ножницами, неровно, кто-то другой, не сам. Последний раз, я думаю, за месяц-полтора. И побрит он был примерно за неделю до смерти, по щетине видно. — Звонарёв обошёл стол. — Ногти на руках и на ногах острижены. Тоже не сам, на правой руке аккуратнее, чем на левой.

— Кто-то за ним ухаживал.

— Кто-то за ним ухаживал.

Звонарёв приподнял простыню с другого края.

— Ноги посмотрите.

Лапин посмотрел. Ступни были узкие, и подошвы у них были гладкие, розоватые, без единой мозоли, без трещин на пятках, без ороговения по краю — такие бывают у грудных детей и у лежащих больных.

— Он не ходил?

— Ходил. Мышцы голени работали, это видно. — Звонарёв опустил простыню. — Ходил, но по ровному, недалеко и всегда обутой. Или босиком по чему-то мягкому. По земле он не ходил, Марк Витальевич. Никогда. Или очень давно.

Он потянул труп нижнюю губу вниз.

— И вот ещё. Дёсны. Видите, край какой? Это не пародонтоз, это авитаминоз, старый, много раз пролеченный. У него было это состояние и уходило, и опять было, и опять уходило. Как по сезонам.

— По сезонам?

— Ну зимой хуже, весной лучше. — Звонарёв пожал плечами. — Как у всех нас, только сильнее. Я вам это в заключение не напишу, это не доказательство, это впечатление.

В камере что-то щёлкнуло и загудело ровнее.

— Во сколько его обнаружили? — спросил Лапин.

— В шесть двадцать. Так в протоколе.

— В протоколе со слов кого?

— Со слов участкового. — Звонарёв поднял глаза. — А что?

Лапин не ответил. Он перевернул страницу и стал писать, и писал он долго, и Звонарёв ждал, глядя в сторону, потом сказал:

— Давайте я вам главное скажу, а вы потом решите, надо оно вам сегодня или завтра.

— Говорите.

— Смерть наступила примерно три недели назад. Плюс-минус неделя. Больше месяца — точно нет.

— Это с учётом рассола?

— Это с учётом рассола, температуры плюс шесть, полного отсутствия насекомых и того, что мне пришлось считать по трём разным методикам, потому что ни одна тут не работает. — Он поднял палец. — Три недели. Мне это не нравится ровно так же, как вам.

— А что не нравится?

Звонарёв обошёл стол и приподнял верхнюю губу трупа тыльной стороной ручки.

— Вот это.

Зубы были жёлтые, ровные, целые. В четырёх стояли пломбы — серые, тусклые, с металлическим отсветом.

— Амальгама, — сказал Звонарёв. — Серебряная амальгама. Их ставили до конца восьмидесятых, потом перестали. И поставлены хорошо, аккуратно, каналы пролечены — то есть его лечили не в порядке живой очереди в поселковой стоматологии, а спокойно и не торопясь. Судя по всему, лет в семнадцать-восемнадцать. И с тех пор к нему никто в рот не заглядывал ни разу.

— Сколько ему лет?

— По зубам и по костям — сорок восемь, сорок девять. По коже и по мышцам — не берусь. — Звонарёв положил ручку. — Марк Витальевич, я вам напишу в заключении сухо, а сейчас скажу так, как думаю. Этому человеку в восемьдесят пятом году лечили зубы в хорошем кабинете. После этого он тридцать лет провёл без солнца, мало двигался, ел скудно, но регулярно, и кто-то стриг ему ногти. А умер он три недели назад.

Лапин молчал.

Молчание вышло длинное. Звонарёв выдержал секунд пятнадцать, чего почти никто не выдерживал, потом сел на табурет и стал стягивать перчатки.

— В карманах что было?

— Ничего в карманах. Ватник советский, рубашка штопаная, штаны непонятные, из двух пар сшиты. Всё это у меня в пакетах. — Он кивнул на стеллаж.

Лапин подошёл к стеллажу.

Пакеты были подписаны маркером, крупно, и лежали в ряд, и в этом тоже чувствовалась чья-то аккуратность: «ватник», «рубашка», «брюки», «носки шерст. 2 п.», «обувь (валенки, обрезанные)». Последний пакет был толще остальных, и в нём лежал ком мокрой белой ткани.

— А это что?

— Это со дна подняли, рядом лежало. — Звонарёв не обернулся. — Ветошь какая-то. Я записал как ветошь, потому что оно размокло и я не понял, что это. Хотите — разложим, но там сутки сохнуть.

— Потом.

Лапин отошёл от стеллажа.

— Одна вещь ещё есть, — сказал Звонарёв. — Жетон латунный, шахтёрский, номерной, на шнурке под рубашкой. Номер частично стёрт, читается первая цифра и последняя.

— Какие?

— Девятка и ноль.

Лапин записал: 9__0.

— Табельные списки рудника где?

— Это не ко мне. Мне сказали, архив в девяносто восьмом заливало.

— Во сколько составлялся протокол осмотра?

Звонарёв посмотрел на него с интересом.

— Вы третий раз спрашиваете про время.

— Я знаю.

— В протоколе указано: начат в двадцать один пятьдесят, окончен в двадцать три десять. Составлен участковым уполномоченным Рыковой. — Звонарёв бросил перчатки в бак. — У вас пока весь материал в одну бумажку упирается, если вы про это.

— Я про это, — сказал Лапин.

Он закрыл блокнот и убрал его во внутренний карман, и в этот момент Звонарёв, уже стоя у раковины и намыливая руки, сказал в стену:

— Да, ещё желудок.

— Что желудок?

— Он ел за два-три часа до смерти. Немного, граммов двести. Хлеб ржаной и что-то белковое, я напишу точнее. — Вода зашумела. — И соли много. Прямо очень много соли, я сначала думал, это посмертное проникновение, но нет, она в содержимом.

— Он ел хлеб с солью.

— Он ел хлеб с солью, — согласился Звонарёв, — и, судя по всему, спокойно ел. Никаких признаков спешки, кусками не глотал, прожевал. — Он закрыл кран. — Я всё это напишу, вы не думайте. Я просто вслух проговариваю, у меня память такая.

6

На улице было темно и минус.

Пар от Тёплого сюда не доходил, но небо над северной окраиной стояло белое и светилось само по себе, ровно, без источника, и Лапин не сразу сообразил, что это отвалы под прожекторами.

Рыкова ждала в машине с работающим двигателем. Он сел, и в салоне было тепло, и на панели по-прежнему лежал блокнот, ручка параллельно.

— Гостиница на Первомайской, — сказала она. — Там телевизор в номере, если что.

— Не надо телевизор.

— Как хотите.

Она выехала на дорогу. Фонари горели через два, и в промежутках было по-настоящему темно, и на этих участках Лапин видел только приборную панель и её руки.

— Валентина Сергеевна.

— Да.

— Вы вниз спускались одна. Зачем?

— МЧС ехало два с половиной часа. Полость под школьным двором. Котельная в девяти метрах. — Она сказала это ровно, готовыми словами, как сдают зачёт. — По существу, я должна была установить, есть ли живые.

— Установили?

— Установила.

Он ждал. Она не добавила ничего.

Перед перекрёстком горел единственный на весь город светофор, и он горел красным, и стоять пришлось долго, потому что цикл был настроен на несуществующий поток.

— А рубашка? — спросила Рыкова.

Лапин повернул голову.

— Что рубашка?

Светофор переключился. Она тронулась, и переключила передачу, и сказала:

— Ничего. Не по существу.

Лапин достал блокнот, но в темноте писать было нельзя, и он держал его закрытым на колене до самой гостиницы, а в номере, не снимая куртки, сел на кровать под лампой, открыл на чистой странице и записал одно слово.

Это была первая строчка в деле, которая взялась не из бумаги.

Глава 4. Круг

1

Кабинет номер четыре находится в правом крыле здравпункта комбината, между процедурной и складом, окном на север.

Площадь — восемнадцать квадратных метров. Стены выкрашены до высоты полутора метров зелёной масляной краской, выше — побелка. В кабинете есть: стол письменный одно-тумбовый, стул при столе, кушетка, обтянутая клеёнкой, шкаф для документов на две дверцы, раковина эмалированная со сколом на левом борту, электроплитка на две конфорки, стоящая на табурете, и полка над столом длиной сто двадцать сантиметров.

Стульев двенадцать.

Их приносят из красного уголка шестого мая, потому что в красном уголке они стоят комплектом и брать по частям неудобно. Девять из них ставятся в круг, три остаются у стены. Их никто не уносит ни в этот день, ни после.

Чайник эмалированный, объёмом три литра, с отбитой на носике эмалью, принесён из дома.

Основанием для проведения занятий служит приказ по медико-санитарной части № 44 от 6 мая 1986 года «Об организации занятий по восстановлению трудоспособности лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии». Приказ занимает половину страницы. В нём указаны: помещение, ответственный — фельдшер здравпункта Гиляров С. И., периодичность — один раз в неделю, четверг, время — с шестнадцати до восемнадцати часов, и состав группы — девять человек, перечисленных по фамилиям в алфавитном порядке.

Приказ подписан начальником медсанчасти и согласован с профкомом. На согласовании стоит штамп и дата.

2

Первое занятие назначено на восьмое мая, четверг.

К шестнадцати часам приходят четверо: Кожин, Пепеляев, Тиунов, Чазов. Кожин приходит первым, за двадцать минут, и всё это время сидит в коридоре, хотя дверь открыта.

Вахрушев и Лунегов приходят вместе в шестнадцать десять.

Мальцев приходит в шестнадцать двадцать, в чистой рубашке, и остаётся стоять у двери, пока ему не показывают на стул.

Рыков приходит в шестнадцать тридцать пять.

Шульгин приходит последним, без четверти пять, и от него пахнет.

Никого не ждут и никому не делают замечаний. Каждый входящий получает кружку. Кружек одиннадцать, все разные, собраны из разных мест: три из процедурной, четыре из столовой, остальные принесены из дома.

В кружки наливается кипяток и заварка. Сахар стоит на столе в стеклянной банке, ложка одна, её передают.

У четверых из девяти руки не в порядке.

У Тиунова тремор, мелкий и постоянный, и по поверхности чая в его кружке идёт рябь. Лунегов держит кружку в двух руках и всё равно ставит её на пол, потому что расплёскивает. У Рыкова на правой кисти сорван ноготь на среднем пальце — сорван двенадцатого апреля о раму двери и не залечен, и палец обмотан синей изолентой, потому что бинт мокнет. Мальцев сидит, положив ладони на колени, и ладони лежат ровно, и он не убирает их с коленей ни разу за два часа.

Все девять острижены коротко. Это не стговор: в бане после подъёма их мыли и стригли, потому что в волосах была соль, которая не вычёсывается.

У Шульгина на шее, под воротником, видна сыпь.

Первые сорок минут не говорит никто.

Это устанавливается не как правило, а как факт: девять человек сидят в кругу, держат кружки обеими руками и смотрят в пол, в окно, на плитку. Один раз Вахрушев встаёт и выходит. Через шесть минут он возвращается и садится на своё место.

Слышно, как за стеной в процедурной моют инструмент, как на улице разгружают машину, как в трубе идёт вода.

В шестнадцать пятьдесят фельдшер здравпункта Гиляров ставит чайник во второй раз.

3

Он говорит первым, стоя у раковины, спиной к кругу, потому что моет кружку.

Он говорит, что не будет спрашивать, как они себя чувствуют, потому что знает как. Он говорит, что не будет говорить, что время лечит, потому что время не лечит, а изнашивает, и что это разные вещи. Он говорит, что у него к ним есть одна практическая просьба, но сначала надо сделать другое.

Он просит восстановить последовательность.

Он объясняет: не рассказать, что было, а именно восстановить порядок — что за чем шло, в какую минуту, кто где стоял. Он говорит, что это не для комиссии, комиссия уехала, и что бумага останется здесь, в шкафу, и он её никому не отдаст.

Мальцев спрашивает, зачем.

Гиляров вытирает кружку полотенцем и говорит, что человек, у которого события перепутались местами, перестаёт себя узнавать, и что это лечится только одним способом — разложить обратно по порядку. Он говорит, что видел это на фронтовиках, у которых после контузии год шёл вперемешку, и что помогало не лекарство, а календарь.

Он раздаёт бумагу и карандаши.

Бумага — половинки листов из журнала учёта, карандаши химические, восемь штук, девятый Гиляров отдаёт свой.

Через четыре минуты становится ясно, что писать они не могут.

У Тиунова тремор такой, что карандаш идёт волной. Рыков пишет три слова и останавливается, потому что не помнит, как пишется «отсечка». Лунегов держит лист на колене и не начинает вовсе. Кожин пишет мелко и быстро, потом зачёркивает всё и переворачивает лист.

Гиляров собирает бумагу и карандаши обратно.

— Тогда так, — говорит он. — Вы говорите, я пишу.

Он садится к столу боком, чтобы видеть круг, кладёт перед собой общую тетрадь в клеёнчатой обложке и открывает её на первой странице.

Дальше — два часа сорок минут, из которых сорок сверх приказа.

Говорят вразнобой. Говорят одно и то же по три раза. Спорят о том, кто первым услышал гул, и не могут сойтись. Пепеляев говорит, что вода была холодная, и на него смотрят молча, и он сам поправляется: тёплая. Чазов не говорит ничего и на прямой вопрос отвечает, что не помнит, и это записывается тоже.

Хуже всего идёт середина. Начало помнят все, конец помнят все, а между гулом и дверью у восьмерых из девяти нет ничего: они называют это «бежали» и на все уточняющие вопросы отвечают «ну бежали». Гиляров спрашивает, кто в этом месте кого держал, и выясняется, что Лунегова вели, и Лунегов об этом не знал, и когда ему говорят, он не верит, а потом верит и просит воды.

Ещё выясняется, что никто не может назвать, сколько это длилось. Называют: пять минут, полчаса, минуту. Один говорит — час.

Про дверь говорят все и говорят охотно, потому что дверь — это то, что было понятно.

Про телефон говорит один Мальцев.

Он говорит: «Мне сказали отсекаль». Его спрашивают, кто сказал. Он говорит: «Диспетчер». Его спрашивают, кто сказал диспетчеру. Он молчит.

Гиляров записывает: «команда на отсечку получена по телефону из диспетчерской».

Потом Кожин спрашивает, во сколько это было.

Гиляров не отвечает сразу. Он переворачивает страницу назад, ведёт пальцем и говорит:

— Четыре пятьдесят.

— Точно?

— У меня в акте.

В кабинете становится тихо иначе, чем было тихо до этого. Тиунов ставит кружку на пол. Мальцев наклоняется вперёд, упирается локтями в колени и держит голову.

— Так это мы успевали, — говорит Вахрушев.

Никто ему не отвечает.

Гиляров дописывает строку до конца, ставит точку и закрывает тетрадь.

— На сегодня достаточно, — говорит он.

4

Восьмого мая никто из девяти не уходит сразу. Они стоят в коридоре ещё минут двадцать, курят у крыльца, и расходятся не вместе, а по одному, с промежутками.

Пятнадцатого мая приходят все девять. Двадцать второго — все девять. Двадцать девятого — восемь, потому что Чазов в отгуле, и он приходит пятого июня и объясняет причину, хотя объяснять не просили.

Пятого июня Гиляров говорит про практическую просьбу.

Он говорит так.

Он говорит, что у человека внутри может завестись то, чему негде лежать. Не мысль и не чувство, а именно вещь, которая ходит по человеку кругом и нигде не останавливается, и от этого не спят, и от этого поднимается давление, и от этого мужчина сорока лет начинает бояться закрытых дверей в собственной квартире. Он говорит, что таблеток от этого нет, потому что таблетки от давления, а не от того, что его подняло.

Он говорит, что этому надо дать место.

Не выговорить, а именно отнести — куда-нибудь, физически, ногами, регулярно. Он говорит, что мозг устроен просто и что если делать одно и то же в один и тот же день, то через полгода тело начинает ждать этого дня и в остальные дни отпускает.

— Что носить? — спрашивает Кожин.

— А что вы с собой под землю берёте?

— Хлеб.

— Вот хлеб.

— Так соли же там... — говорит Тиунов и не заканчивает.

— Соль отдельно, — говорит Гиляров. — Пачку. Наверху ведь солят.

Он говорит, куда. Не на площадку рудника — там охрана, туда не пройти и незачем светиться. Есть вентиляционный ствол два-бис, в лесу, за сухостоем, три километра от крайних домов. Он не заварен и заварен не будет, потому что через него из четвёртой панели идёт естественная тяга, и это проектное решение, и его не отменяют.

— Оттуда идёт воздух, — говорит Гиляров. — Из четвёртой.

Это единственная фраза, после которой никто не переспрашивает.

— Это что, поминки? — говорит Шульгин.

— Нет.

— А что?

— Поминки — это когда один раз, — говорит Гиляров.

Шульгин смотрит на него. Гиляров смотрит в ответ спокойно, и первым отводит глаза Шульгин.

— Я не пойду, — говорит он.

— Не ходите.

— И что будет?

— Ничего не будет, — говорит Гиляров. — Вы просто пропустите свою неделю, и её возьмёт кто-нибудь другой.

Слово «неделя» произносится здесь впервые.

Дальше идёт обсуждение, и обсуждение это бытовое.

Спрашивают, каждому ли ходить или по очереди. Ответено: по очереди, иначе тропу набьют и станет видно. Спрашивают, в какой день. Ответено: в свой, кому когда удобно, лишь бы раз в неделю. Спрашивают, что делать со старым, если лежит. Гиляров думает несколько секунд и говорит: забирать и уносить, потому что мусорить там нельзя.

Спрашивают, говорить ли жёнам.

Гиляров говорит, что это личное дело каждого и что он бы сказал, потому что скрывать от жены поход в лес по четвергам — само по себе нагрузка.

Пепеляев спрашивает, надолго ли это.

— На три месяца, — говорит Гиляров. — Потом посмотрим по самочувствию.

5

График составляется на месте, на обороте листа из журнала учёта.

Порядок определяется по алфавиту, потому что так проще всего и потому что ни один другой порядок не был бы никем принят. Против каждой фамилии ставится дата — четверг. Всего в списке девять строк, а даты идут до конца сентября, то есть на четыре круга.

Шульгин в списке есть. Против его фамилии Гиляров ставит дату так же, как остальным, и вслух этого не оговаривает.

Внизу листа приписано: «врем., на 3 мес., далее по самочувствию».

Лист вкладывается в тетрадь. Тетрадь ставится на полку над столом, слева, к стенке.

Занятие заканчивается в восемнадцать ноль пять. Девять человек выходят, в коридоре кто-то смеётся над чем-то не относящимся к делу, и этот смех слышен на лестнице.

Гиляров моет одиннадцать кружек и ставит их вниз доньшками на полотенце. Выключает плитку. Выливает из чайника остаток, ополаскивает, ставит на табурет. Закрывает форточку. Стулья — девять из круга — сдвигает к стене, а три, стоявшие у стены, не трогает.

В восемнадцать сорок он выходит и запирает кабинет.

6

По дороге домой он заходит в магазин на Горняков.

Берёт буханку чёрного и пачку соли крупного помола, килограмм. Продавщица спрашивает, чего он такой поздний, он отвечает, что был на работе. Она заворачивает хлеб в бумагу и говорит, чтобы шёл осторожнее, потому что у котельной разлили.

Домой он не заходит.

От крайних домов до границы сухостоя — километр по бетонке, дальше по просеке. Сухостой начинается сразу, без перехода: только что был живой лес с подлеском и с птицами, и вот стоит серое, и подлеска нет, и птиц нет.

Здесь очень тихо.

Тихо не как в лесу, а как в помещении: звук не разносится, а гаснет в двух шагах, и собственные шаги слышно только под собой. Снег сошёл ещё в апреле, и почва под ногами голая, серая, и на ней ничего не растёт даже в июне.

Идти по сухостю неудобно. Стволы стоят часто, ветки на них сухие и ломкие, и они не сгнили, потому что здесь нечему гнить: соль держит дерево так же, как держит всё остальное. Гиляров идёт, отводя ветки предплечьем, и ветки не пружинят, а отламываются с сухим щелчком, и каждый щелчок слышен отдельно и никуда не улетает.

На полпути он останавливается и перекладывает пакет в другую руку.

До оголовка — восемьсот метров.

Оголовок два-бис — бетонный цилиндр в человеческий рост, диаметром метра три, с чугунной решёткой сверху и с боковым лазом, закрытым щитом. На щите висит замок. Замок амбарный, ржавый, дужка в масляной плёнке.

Гиляров кладёт пакет на бетон и берётся за решётку.

Из решётки идёт воздух.

Он идёт ровно, без порывов, и он тёплый — заметно теплее вечернего, градусов на десять, — и он влажный, и он пахнет вымытым полом.

Гиляров стоит, держась за прутья, минуты три. Потом снимает руку и смотрит на ладонь: на ней осел белый налёт.

Он вытирает ладонь о брюки.

Потом развязывает пакет, достаёт хлеб, снимает с него бумагу и кладёт хлеб прямо на бетон, у решётки. Рядом ставит пачку соли, надорвав уголок.

Бумагу он складывает вчетверо и убирает в карман, потому что бросать здесь бумагу незачем.

Обратно он идёт быстро, потому что темнеет.

Глава 5. Поминальная соль

1

Восьмой день начался в четыре утра, потому что в четыре Лапин проснулся и больше не заснул.

За стеной гудело. Он уже привык и почти не слышал этого — так же, как перестаёшь слышать холодильник, — но в четыре утра, когда весь дом стоял, гул был единственным звуком в мире и шёл он не из трубы, а откуда-то сбоку и снизу, ровный, без всякой периодичности.

Лапин лежал на спине и смотрел в потолок, на котором от уличного фонаря лежала полоса.

В шесть он встал, побрился холодной водой, потому что горячую давали с шести и она ещё не дошла, и вышел на улицу.

Пахло хлебом.

Он остановился на крыльце, потому что это было неправильно: в шесть двадцать утра, в апреле, в городе, где ветер идёт с отвалов и приносит пыль, над улицей Первомайской стоял ровный, густой, тёплый запах чёрного хлеба, и в нём не было ничего от булочной — так пахнет не там, где хлеб продают, а там, где его печь начали часов восемь назад и не останавливались.

Он пошёл на запах.

Пекарня оказалась в глубине двора за поликлиникой: одноэтажный корпус в четыре окна, ворота, разгрузочная площадка, синяя вывеска «Хлебокомбинат» с отвалившейся буквой. Из ворот выезжала «Газель». За ней шла вторая.

Женщина в белом халате и в куртке поверх халата курила у ворот, держа сигарету в кулаке, как держат на морозе.

— Здравствуйте, — сказал Лапин. — Вы работаете?

— С одиннадцати вечера работаем.

— А обычно?

— Обычно с трёх. — Она посмотрела на него без интереса. — Вы из газеты, что ли?

— Нет.

— А то ездят.

Она докурила, затоптала и открыла ему дверь плечом.

Внутри было жарко, градусов под тридцать, и стоял такой плотный запах, что Лапин почувствовал его во рту. Вдоль стены на стеллажах в три яруса стояли лотки, и в лотках лежал чёрный хлеб — кирпичики, тёмные, с мучным следом на боку, ещё горячие, и от них поднимался пар и уходил под потолок, где висели трубы.

— Сколько тут?

— На сегодня тысяча двести.

— А в обычный день?

— Триста двадцать, — сказала женщина. — Ну, триста пятьдесят, если суббота.

Лапин достал блокнот.

— Заказ откуда?

— Из администрации бумага, но это так, для порядка. Мы и без бумаги знаем. — Она подтянула лоток и переставила его выше. — Мы это с восьмьдесят седьмого печём.

— Ежегодно?

— Каждое двенадцатое. — Она вытерла руки о халат. — Раньше ещё больше пекли, население было. Сейчас вот тысяча двести, и то к трём часам разберут.

— Кто разберёт?

Женщина посмотрела на него как на человека, который спросил, кто зимой носит шапку.

— Все, — сказала она.

2

На улице к восьми сталолюдно, и люди были другие.

Лапин восемь дней ходил по этому городу и успел привыкнуть к его будничному лицу: серые куртки, быстрый шаг, никто ни на кого не смотрит. Двенадцатого числа город вышел на улицу в чистом. Не в праздничном — именно в чистом: выглаженные воротники, вымытая обувь, у женщин убранные волосы. Мужчина в спецовке, шедший на смену, был в спецовке стираной.

В обоих магазинах на Горняков у хлебных полок стояла очередь, и очередь двигалась быстро, потому что все брали одно и то же и знали, сколько это стоит.

В винном отделе не было никого.

Лапин постоял, посмотрел, потом спросил у продавщицы, во сколько у них открывается алкогольный.

— Сегодня не торгуем, — сказала она.

— Запрет?

— Да какой запрет. — Она махнула рукой. — Не берут просто. Что мне, стоять там весь день?

Цех пищевой соли стоял отдельно от фабрики, за проходной, в старом корпусе с двускатной крышей.

Пропуск ему выписали за четыре минуты, без единого вопроса, и это Лапин отметил отдельно.

Внутри было светло, шумно и бело. Работали двое: аппаратчица и мастер, женщина лет пятидесяти пяти, в каске поверх платка, представившаяся Надеждой Ивановной. Она провела его вдоль линии, показывая рукой и говоря громко, чтобы перекричать.

Соль шла по ленте — не порошок, а крупа, неровная, стеклянистая, и в свете ламп она блестела, и в воздухе стояла белая взвесь, оседавшая на плечах, на бровях, на перилах, на всём.

— Помол номер три! — говорила Надежда Ивановна. — Это крупный! Тонкий мы не делаем, невыгодно!

— А это что?

— Фасовка!

Пачки были синие, бумажные, простые, как в семидесятых, и по ним шёл чёрный штамп с датой и номером.

В конце линии стоял стол, и на столе лежала стопка таких же синих пачек, отложенных отдельно, и Надежда Ивановна на них показала:

— А это апрельская.

Они вышли в коридор, где было тише.

— Что значит апрельская?

— Ну садка. — Она сняла каску, поправила платок, снова надела. — Садка — это по-старому говорится, когда соль в бассейне садится, у нас-то не бассейн, у нас выпарка, но говорят по привычке. Одна садка — это одна партия, один номер. Мы под двенадцатое апреля откладываем одну садку и потом весь год из неё.

— Весь год?

— Ну а как. — Она пожала плечами. — Чтоб из одной. Так заведено.

— Кем заведено?

— Да господи. — Надежда Ивановна засмеялась. — Кем-кем. Мной вон, я тут двадцать девять лет.

Лапин записал.

— И сколько откладываете?

— На трапезу восемьсот пачек. Их в магазины отдаём бесплатно, магазины уже раздают, у нас с этим строго, чтоб не продавали. — Она подумала. — И пятьдесят две отдельно.

— Отдельно — это как?

— Отдельно и отдельно. По профкому идут, у них там свои дела, поминальные. За ними Серафим Ильич приходит, он сам расписывается, я ему в конце апреля отдаю.

— Пятьдесят две.

— Пятьдесят две. — Она посмотрела на него. — А что?

— Ничего, — сказал Лапин. — Я записываю всё подряд, потом сам не помню зачем.

Надежда Ивановна кивнула с пониманием.

— У нас тоже так в журналах.

3

К обелиску начали сходить после половины двенадцатого.

Шли по обочине, вдоль дороги, поодиночке и семьями, и Лапин, стоявший у своей машины на площадке автостанции, видел, как из проулков выходят люди и вливаются в общее движение, и как оно уплотняется, и как никто никого не обгоняет.

Никто не разговаривал громко.

Это было первое, что он отметил: шло, наверное, человек четыреста, и шум от них был как от сорока. Дети шли за руку и не отбегали. Ни одного велосипеда.

У обелиска стояли два стола на козлах, накрытые клеёнкой, и на клеёнке лежал хлеб — тот самый, чёрный, разрезанный на четыре части каждый кирпичик, — а между хлебом стояли миски. В мисках была соль.

Никаких флагов, венков и транспарантов не было. Микрофона не было. Скамеек не было.

Люди подходили, останавливались, ждали.

Лапин отошёл к краю, за автобусную остановку, откуда было видно и стол, и лица, и стоял там, засунув руки в карманы. Рядом с ним встал священник.

Это был мужчина лет сорока в чёрном подряснике и в обычной зимней куртке поверх, невысокий, с редкой бородой. Он тоже стоял в стороне и тоже смотрел.

— Вы следовательно, — сказал он утвердительно.

— Лапин Марк Витальевич.

— Владимир. — Он не подал руки, потому что руки были в карманах у обоих. — Я тут настоящий.

— Вы не участвуете?

— Я стою, — сказал отец Владимир.

Он сказал это ровно, без обиды, и от этого прозвучало хуже, чем если бы с обидой.

— Меня не зовут, — добавил он через паузу. — Восемнадцать лет. Я первые года три сам приходил, служил литию вон там, у края. Люди стояли вежливо, дожидались, пока я закончу, и потом начинали своё.

— И вы перестали.

— Я перестал.

Лапин посмотрел на него сбоку.

— А что у них своё?

— А ничего, — сказал отец Владимир. — В том и штука, Марк Витальевич. Ни молитвы, ни слова, ни песни. Съедят и разойдутся. Я двадцать раз это видел и до сих пор не понимаю, что я вижу.

В двенадцать к столу вышел старик.

Лапин узнал его не сразу, потому что видел до этого только в отделе, в очках и в куртке: Кожин Пётр Ильич, семьдесят один год. Он был без шапки, в том же расстёгнутом пальто, и в руках у него ничего не было.

Он подошёл к столу, обернулся к людям и подождал, пока станет совсем тихо.

Потом сказал:

— Ну, помянем.

И всё.

Люди пошли к столам. Они шли не толпой, а как-то само собой упорядочившись, брали кусок хлеба, макали угол в миску с солью, отходили и ели. Ели молча и быстро. Некоторые крестились, некоторые нет, и никто не смотрел, кто как. Женщина в красном пуховике кормила с руки ребёнка лет четырёх, отщипывая ему по кусочку и обмакивая за него.

Пахло хлебом и мокрым асфальтом.

К третьему столу подошла трёхногая собака, и ей дали хлеба сразу трое, и она съела у первого, а от второго и третьего отошла, потому что уже не хотела.

Лапину тоже дали.

Он не заметил, кто именно вложил ему в руку кусок, — рука была женская, в вязаной перчатке без пальцев, и она исчезла в толпе прежде, чем он повернулся. Кусок был тяжёлый и ещё чуть тёплый в середине.

— Макайте, — сказал отец Владимир. — Тут не откажешься.

Лапин макнул угол в миску, которую держал перед ним подросток лет пятнадцати, и откусил.

Соль была крупная и не растворялась сразу. Она хрустела на зубах и жгла нёбо, и вкус её был не такой, как у обычной: горше и как будто с металлом, и от неё почти сразу свело рот, и захотелось пить. Хлеб был плотный, кисловатый, хороший.

Он стоял и жевал, и вокруг стояли и жевали четыреста человек, и никто не произносил ни слова, и был слышен только этот звук — четыреста человек, которые едят.

Звук был неприятный.

Лапин не сразу понял почему, а потом понял: обычно, когда люди едят вместе, они при этом говорят, и жевание уходит в разговор, как шум мотора уходит в дорогу. Здесь разговора не было, и оставалось только оно — мягкое, влажное, множественное, идущее со всех сторон одновременно.

Он посмотрел на лица.

Никто не плакал. Это было следующее, чего он не ожидал: за четыре сотни лиц — ни одного заплаканного, ни одного скорбного, ни одного торжественного. Лица были сосредоточенные и слегка усталые, такие, какие бывают у людей, делающих привычную работу, которую нельзя сделать плохо: у женщин, вяжущих на автомате, у мужчин, забивающих гвоздь.

Старуха рядом с ним доела, отряхнула ладони одну о другую и сказала в пространство:

— Ну вот и слава богу.

— За кого поминаем? — спросил Лапин.

Она повернулась. Ей было лет восемьдесят, лицо было маленькое и приветливое.

— Как за кого. За наших.

— За тех, кто на руднике?

— За наших, — повторила она с той же интонацией, и в этой интонации не было ни уклонения, ни раздражения — она просто дала тот же ответ, потому что вопрос был тот же.

Потом добавила, уже отходя:

— Вы кушайте, кушайте. Что стоите с ним.

Всё кончилось за одиннадцать минут.

Лапин засёк начало и засёк конец. В двенадцать одиннадцать столы стояли пустые, люди уже двигались к дороге, и двое мужчин снимали клеёнку и складывали козлы.

Уходя, почти каждый трогал обелиск.

Не все и не демонстративно: проходя мимо, клали ладонь на бок камня, на ту самую выемку, и шли дальше, не сбавляя шага, — так трогают дверной косяк в родительской квартире. Дети доставали до нижнего края и тоже трогали. Один мужчина не тронул, и Лапин проследил за ним взглядом: тот дошёл до угла, остановился, вернулся, положил руку и пошёл обратно уже спокойно.

Мусора после четырёхсот человек не осталось никакого.

У подножия обелиска, с северной стороны, стояла нетронутая буханка и рядом с ней синяя пачка соли с надорванным углом. Их никто не убрал, и убирать, судя по всему, не собирались: мужчины с козлами обошли это место, как обходят клумбу.

Валя Рыкова стояла у стола ближе к обелиску.

Она взяла хлеб, как все. Лапин видел, как она взяла — двумя пальцами, аккуратно, — и как ответила что-то женщине рядом, и как повернулась, и как в повороте, движением до того привычным, что оно не читалось как движение, опустила руку в карман форменной куртки.

Из кармана рука вышла пустой.

Она пошла к машине, и по дороге сказала что-то мужчине с козлами, и мужчина засмеялся.

4

Кожин догнал его у остановки.

Он шёл медленно и всё же догнал, потому что Лапин стоял.

— Марк Витальевич. Вы в ДК-то идите, там чай. — Он говорил приветливо, чуть задыхаясь. — А то вы всё один да один.

— Пойду.

— Идите, идите. — Кожин посмотрел на пустые столы, которые уже разбирали. — Хорошо прошло сегодня. Спокойно.

— А бывает не спокойно?

— Ну как. — Он поправил шарф. — В две тысячи первом было нехорошо. Ну там повод был.

Он сказал это и пошёл дальше, и Лапин пошёл рядом, и метров тридцать они шли молча.

— Какой повод?

— Так провалилось же тогда, — сказал Кожин с лёгким удивлением, что приходится объяснять. — На двадцать первом километре. Вы разве не читали?

— Читал.

— Ну вот.

Он остановился у перехода, посмотрел налево, посмотрел направо, хотя машин не было ни одной, и перешёл дорогу.

Чай был в ДК, в фойе, и туда пришли не все, а человек шестьдесят: те, кто постарше, и те, кому было куда не спешить.

В фойе стояли столы с кружками, два титана, вазочки с карамелью. Горела половина ламп. Со стены смотрел стенд «Наши ветераны» с выцветшими фотографиями, и рядом другой стенд, пустой, с одними следами от скотча.

Лапин взял кружку и постоял с ней минут десять, слушая.

Говорили о ценах на дрова. О том, что автобус в Березники теперь в шесть двадцать, а не в шесть. О внуках. Об аварийном фонде и о списках — вот это обсуждали дольше всего, подробно и деловито, кого в какую очередь и кому какие метры, и в этих разговорах не было ни слова о том, зачем все здесь собрались.

К часу фойе опустело.

Кружки стали сносить в подсобку за титанами — узкую комнату с двумя раковинами, стеллажом и запахом мокрой тряпки. Лапин зашёл туда с собственной кружкой, потому что ставить её было больше некуда.

У раковины стоял старик и мыл посуду.

Он был невысокий, сухой, в сером свитере с подвёрнутыми рукавами, и мыл он аккуратно и быстро: намыливал губкой, ополаскивал, ставил вверх дном на решётку, и на решётке уже стояло штук сорок кружек ровными рядами.

— Ставьте сюда, — сказал он, не оборачиваясь.

— Я помою.

— Мойте.

Лапин вымыл свою кружку и поставил рядом с остальными. Старик подвинул её на полсантиметра, чтобы стояла в ряд.

— Вы из Перми, — сказал он.

— Из Перми.

— Как вам у нас?

Лапин помолчал. Старик не торопил: он домыл ещё две кружки, потом взял полотенце и стал вытирать руки, палец за пальцем.

— Соль у вас горькая, — сказал наконец Лапин.

— Магния много. — Старик кивнул. — В нашей больше магния, чем в покупной. От неё пить хочется и давление к вечеру. Я в этот день всегда говорю — не наедайтесь, а меня никто не слушает.

— Вы врач?

— Фельдшер. Бывший. — Он повесил полотенце на батарею, расправил. — Здравпункт закрыли в две тысячи девятом, а я к тому времени десять лет как на пенсии. Так что я никто, я тут чашки мою.

— Давно моете?

Старик посмотрел на него — коротко, спокойно, снизу вверх.

— С восемьдесят шестого, — сказал он. — Тогда, знаете, не было принято, чтобы мужчина мыл. Так и повелось.

Он открыл шкафчик, достал коробку с чаем, поставил на место, закрыл. Движения у него были очень экономные.

— Вы про хлеб хотите спросить, — сказал он.

— Хочу.

— Спрашивайте.

— Зачем соль?

— А вы как думаете?

— Я не думаю, — сказал Лапин. — Я спрашиваю.

Старик засмеялся — тихо, одним выдохом.

— Правильно. — Он вытер краем полотенца капли с борта раковины. — Хлеб с солью — это то, что горняк берёт с собой вниз. Только соль вниз не берут, там её и так. А наверху солят. Вот и всё объяснение, никакой мистики. Люди делают то, что умеют, а умеют они кормить.

Он сказал это и посмотрел в окно, и в окне был двор ДК и мусорные баки.

— Тут ведь в чём беда, — сказал он. — Когда человек кого-то потерял, ему хочется что-то сделать руками. Не подумать, не поговорить — сделать. А сделать нечего. И вот они раз в год руками делают. Двенадцать минут, и человеку легче на месяц. Я это тридцать лет наблюдаю и другого такого средства не знаю.

— Одиннадцать, — сказал Лапин.

— Что?

— Одиннадцать минут. Я засекал.

Старик посмотрел на него ещё раз, и на этот раз смотрел дольше.

— А остальные дни в году что? — спросил Лапин.

— В смысле?

— Двенадцать минут раз в год — это немного. Вы сказали, легче на месяц. Значит, одиннадцать месяцев человек как-то живёт сам.

Старик поставил кружку и ответил не сразу.

— Ну, у кого как, — сказал он. — Кто-то сам. Кто-то ко мне ходит.

— Ходят до сих пор?

— Ходят. По четвергам. — Он снял с батареи полотенце, встряхнул, повесил обратно ровнее. — Здравпункта нет, а комната осталась, её не заперли, потому что ключ у меня. Приходят человек шесть-семь, кто когда. Чай пьём.

— И вы их лечите?

— Я им давление меряю, — сказал старик. — Больше я ничего не умею.

Он сказал это спокойно, глядя в раковину.

— Вы, я вижу, спите плохо, — сказал он.

— Нормально сплю.

— Ну и хорошо.

Он взял с решётки первую кружку и стал переставлять их на стеллаж, по восемь в ряд.

— Вы у нас надолго?

— По обстоятельствам.

— Это правильно. — Кружки шли одна за другой, дно к дну. — А то у нас как: приезжают на две недели, пишат, уезжают, и потом у меня в феврале люди. — Он поставил очередную кружку и не сразу отпустил её. — Мой город плохо переносит, когда про него пишат.

Пауза была недлинная.

— Наш город, — сказал он.

Он поправил кружку и взял следующую.

5

Валя ждала его на улице, у машины, и курила, чего он за восемь дней ни разу не видел.

— Дождались?

— Да я не вас, — сказала она и затушила о подошву, а окурок убрала в карман. — Я тут просто стою.

Они постояли. С отвалов, с той стороны, шёл низкий свет, и небо над ними уже начинало белеть, хотя было только начало третьего.

— Кто мыл чашки? — спросил Лапин.

— В подсобке?

— В подсобке.

— Так Серафим Ильич.

Лапин достал блокнот, но не открыл.

— Гиляров?

— Гиляров. — Валя пожала плечами. — Он фельдшер бывший. Он тут всех лечил, лет сорок. Ему сейчас семьдесят восемь.

— Он в деле проходит?

— Нет.

— А почему нет?

Валя посмотрела на него — и он потом, вечером, ещё раз прокрутил эту паузу и не сумел решить, была она или не была.

— По существу нечему проходить, — сказала она. — Он не работал на руднике, он в здравпункте сидел. У него в восемьдесят шестом самая тяжёлая работа была — справки выписывать.

Она открыла дверцу.

— Поедете? Я вас до гостиницы.

— Я пешком.

Он дошёл до Первомайской минут за двадцать. По дороге ему трижды сказали «здравствуйте» незнакомые люди, и один мужчина у подъезда протянул ему кусок хлеба и очень удивился, когда Лапин отказался.

Дорога шла мимо обелиска.

Хлеб и соль у подножия лежали на месте. Лапин сбавил шаг, посмотрел и пошёл дальше, и уже метров через сто подумал, что надо было сфотографировать, и решил, что сделает это завтра.

Завтра там ничего не было.

В номере он снял куртку, сел к столу и открыл блокнот.

На вчерашней странице стояло одно слово: «рубашка».

Он перелистнул вперёд, на сегодняшнюю. Там были записаны цифры: 1200, 320, 800, 52, 11, 400. Он посмотрел на них подряд, сверху вниз, потом обвёл одну.

Пятьдесят два.

Он сидел и смотрел на обведённое число, и во рту у него всё ещё стоял вкус соли, и пить хотелось так, что он встал и выпил два стакана из-под крана, и вода была жёсткая и тоже отдавала металлом.

Потом он вернулся к столу и приписал рядом с цифрой, мелко, в скобках:

(в году сколько недель)

Глава 6. Справка

1

Здравпункт работает с восьми.

В приёмной шесть стульев, из них два с продавленными сиденьями. На стене график флюорографии за первый квартал, на графике отмечено семьдесят четыре процента. Рядом плакат о вреде курения, выпущенный в семьдесят девятом году, с оторванным нижним углом.

Кабинет номер два — процедурный. Кабинет номер четыре — фельдшерский.

Подоконник в кабинете номер четыре северный, широкий, крашенный той же зелёной краской, что и стены. На нём стоят: банка с сухими бинтами, коробка из-под конфет с квитанциями, чугунная гиря на два килограмма, назначения которой никто не помнит.

Между предметами лежит соль.

Она садится за ночь ровным слоем в толщину папиросной бумаги, и её не наносит ветром, потому что форточка закрыта. Она проступает сама, из воздуха, как проступает пыль в нежилой комнате, только быстрее и белее. Утром её сметают ладонью в ладонь и вытряхивают в раковину. К вечеру она есть снова.

Ниже подоконника, у батареи, стоит ведро с водой и тряпка. Тряпку меняют раз в неделю: соль съедает её за девять дней, ткань становится жёсткой и рвётся по сгибу.

С двадцать первого апреля приём ведётся до одиннадцати, потому что дальше идут бумаги.

Больных немного и все одинаковые: давление, бессонница, сердце. Выписывается валидиана, настойка пустырника, папазол. Дважды в неделю — направление в Березники, которым никто не пользуется, потому что автобус один и он в шесть двадцать.

За двенадцать дней с момента аварии выдано сорок одно направление, шестьдесят три листка нетрудоспособности и двести четырнадцать разовых доз седативных средств. Все цифры сходятся, потому что учёт ведётся ежедневно и в один почерк.

2

Комиссия работает на комбинате с четырнадцатого апреля.

В неё входят семь человек: двое из министерства, двое из института, представитель Госгортехнадзора, представитель обкома и следователь прокуратуры. Они занимают красный уголок управления, куда переносят четыре стола и телефон.

К фельдшеру здравпункта у комиссии вопросов нет.

Он вызывается дважды. Первый раз двадцать второго апреля, на семь минут: у него спрашивают, оказывалась ли медицинская помощь на поверхности, кому, в каком объёме, и просят приложить сведения. Второй раз — двадцать четвёртого, на четыре минуты: уточняют, есть ли среди поднятых лица с телесными повреждениями. Лиц с телесными повреждениями нет, если не считать сорванного ногтя и ссадин, а ссадины в акт не идут.

Оба раза он стоит. Стульев в красном уголке достаточно, но ему не показывают на стул, а сам он не садится.

Один из членов комиссии называет его медбратом. Это происходит один раз и без всякого умысла: человек говорит «медбрат, у вас там сведения готовы», не поднимая головы от бумаг. Замечание не поправляется и последствий не имеет.

При этом на опросах он присутствует все шесть дней.

Присутствие обусловлено тем, что опрашиваемые — люди, поднятые двенадцатого апреля, и двое из них в первый же день отпрашиваются выйти, а Тиунов на середине опроса перестаёт отвечать и сидит, глядя в стол, восемь минут. После этого следователь прокуратуры просит, чтобы медработник находился в помещении.

Медработник находится в помещении.

Он сидит у окна, отдельно от стола комиссии, и записывает в свою тетрадь: фамилия, время начала, время окончания, состояние, что дано. Записи короткие: «Л-в — тремор, вода», «Р-в — не отвечает 3 мин.», «Ч-в — вышел, вернулся».

Кроме этого он записывает то, что говорят.

Это никем не запрещено и никем не оговорено. Комиссия ведёт протокол сама, машинистка печатает начисто, а тетрадь фельдшера к делу не приобщается и в описи не значится, потому что она медицинская.

К двадцать шестому апреля в тетради сорок одна страница.

Основные вопросы комиссии касаются другого.

Комиссия устанавливает: гидрогеологические условия, состояние водозащитной толщи, наличие или отсутствие признаков расслопроявления, порядок ведения горных работ в четвёртой панели, исправность средств оповещения и правильность действий персонала при отсечке.

По последнему пункту вывод формулируется в первой же редакции и в дальнейшем не меняется: действия сменного персонала признаются соответствующими требованиям инструкции.

По выемке целика в камере девять вопросов задаётся один раз.

Его задаёт представитель Госгортехнадзора, и он спрашивает, на каком основании производилась выемка. Ему отвечают, что по утверждённому плану горных работ. Он просит наряд. Наряд находят: он в наряд-путёвке за двенадцатое апреля, подписан начальником участка, в графе «основание» стоит прочерк.

Представитель Госгортехнадзора смотрит на прочерк и спрашивает, кто может пояснить.

Пояснить может начальник участка. Начальник участка находится за гермодверью номер девять.

Вопрос закрывается в тот же день. В акте техническое заключение формулируется так: прорыв рассолов из ранее не выявленной карстовой полости, разведочными работами не обнаруженной. Слова «внезапный» и «непрогнозируемый» встречаются в тексте акта девять раз.

3

Списки погибших составляются трижды.

Первый список составлен тринадцатого апреля по табелю выхода на смену и содержит одиннадцать фамилий. Второй составлен пятнадцатого, после того как двое найдены на поверхности: один в бане, второй у себя дома, — и содержит девять. Третий, окончательный, утверждается двадцать третьего апреля и содержит тоже девять.

В окончательном списке фамилии идут по алфавиту:

Батуев В. П., 1949 г. р., машинист комбайна; Горев И. С., 1931 г. р., директор комбината; Горев Н. И., 1967 г. р., горнорабочий, таб. № 9420; Гусельников А. М., 1955 г. р., электрослесарь; Кибанов Н. Н., 1961 г. р., крепыльщик; Мохов С. А., 1944 г. р., машинист самоходного вагона; Ошев Г. И., 1953 г. р., проходчик; Плотников Ю. В., 1958 г. р., горнорабочий; Тюкин А. А., 1962 г. р., горнорабочий.

Две первые фамилии одинаковые и стоят подряд. В машинописном тексте это выглядит как повтор строки, и в двух копиях из четырёх машинистка ставит во второй строке кавычки вместо фамилии.

Тела не извлечены. Извлечение признано невозможным: отметка затопления выше уровня сбойки на двадцать два метра, откачка нецелесообразна, консервация выработки согласована.

Основанием для констатации смерти служит акт технического расследования.

4

Двадцать шестого апреля, в шестнадцать десять, председателю комиссии поступает телефограмма.

После этого он выходит в коридор и разговаривает по телефону в приёмной управления одиннадцать минут, а вернувшись, объявляет, что двое членов комиссии убывают сегодня, остальные — завтра, и что акт должен быть подписан к утру.

Акт подписывается в ту же ночь.

В нём двадцать две страницы, восемь приложений и особое мнение представителя Госгортехнадзора на полстраницы, касающееся периодичности гидрогеологических наблюдений.

Двадцать седьмого апреля комиссия убывает.

Двадцать восьмого в вечернем выпуске передают сообщение о том, что на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, повреждён один из реакторов, принимаются меры, пострадавшим оказывается помощь. Сообщение занимает двадцать секунд.

Двадцать девятого о нём говорят в очереди в гастрономе.

Тридцатого о нём говорят в очереди в гастрономе, у проходной и в приёмной здравпункта.

Первого мая колонна не идёт, потому что колонна не идёт с двенадцатого апреля по решению исполкома, но это уже никого не занимает.

Со второго мая в разговорах в очереди слово «рудник» не звучит вовсе. Звучат: реактор, ветер, йод, молоко, дети.

Шестого мая в аптеку привозят йод, и он расходуется за два часа. Восьмого мая женщина, стоящая в очереди в здравпункт, спрашивает, правда ли, что если пить по капле на стакан, то не подействует.

Ей объясняют, что не надо пить по капле на стакан.

Больше в Верхосолье не приезжает никто.

Из областной газеты, приславшей корреспондента девятнадцатого апреля, материал не выходит. Он выходит в сокращении в номере от четвёртого мая, на четвёртой полосе, в двадцати трёх строках, под заголовком «Мужество горняков», и в нём не указано число погибших.

5

Оформление документов по погибшим занимает первую неделю мая.

Комплект на каждого: акт формы Н-1 — четыре экземпляра; выписка из приказа; расчёт по среднему заработку; справка о составе семьи; заявление на единовременное пособие; заявление на пенсию по случаю потери кормильца; медицинское заключение о причине и времени наступления смерти.

Последний документ готовит фельдшер здравпункта, поскольку иного медицинского работника на комбинате нет, а бюро судебно-медицинской экспертизы в отсутствие тел заключения не даёт.

Бланк заключения — половина листа. В нём восемь граф. Седьмая графа: «время наступления смерти».

Двадцать пятого апреля, при сдаче предварительных сведений, эта графа оставлена незаполненной во всех девяти бланках.

Двадцать шестого утром, до телефонограммы, один из членов комиссии просматривает пачку и говорит, что без времени не примут.

— В соцстрахе не примут, — говорит он. — Там машина, ей надо цифру.

— Тела не извлечены.

— Ну и что. Вы напишите, какое было.

— Точного времени нет.

— Так у вас же оно есть, — говорит член комиссии, не отрываясь от бумаг. — Момент отсечки у вас есть? Вот и ставьте момент отсечки, это и есть время. Всё равно там до минуты никто не считает.

Он подписывает свою страницу и уходит обедать.

Заполнение производится тридцатого апреля, в кабинете номер четыре, между семнадцатью и девятнадцатью часами.

Порядок такой: сначала во всех девяти бланках заполняются графы с первой по шестую и восьмая, затем бланки складываются стопкой лицом вверх, затем заполняется седьмая.

Ручка — перьевая, чернила фиолетовые. Почерк мелкий, ровный, с наклоном влево.

В седьмой графе первого бланка пишется:

04 час. 50 мин.

Дальше то же самое пишется ещё восемь раз.

Перо идёт по бумаге с одинаковым нажимом. Цифра «четыре» пишется с петлёй, цифра «пять» — с отдельной верхней чертой, ноль замкнут полностью. Все девять раз одинаково: если сложить бланки стопкой и посмотреть на просвет, седьмые графы совпадут.

Между четвёртым и пятым бланком делается перерыв: ставится чайник, и пока он греется, подоконник обметается ладонью и соль вытряхивается в раковину. Потом заполнение продолжается.

В третьем бланке — Горев Н. И., 1967 года рождения, — почерк не меняется.

Оформление занимает час сорок. Ошибок нет, исправлений нет, ни один бланк не испорчен.

Экземпляров по каждому заключению четыре: в личное дело, в архив комбината, в профком, и один остаётся у составителя — не по инструкции, а потому что бланки печатались с запасом и лишние копии всё равно некуда девать.

Свою пачку он кладёт в шкаф для документов, на вторую полку, под коробку с бланками направлений.

6

Второго мая, в начале десятого, в здравпункт приходит Мохова Зинаида Петровна.

Ей сорок один год, она работает в детском саду номер три, у неё двое. Мужа звали Сергей Алексеевич, он был машинистом самоходного вагона, они прожили девятнадцать лет.

Она приходит не за справкой. Справки у неё уже все на руках, она их принесла с собой в целлофановом пакете и держит пакет на коленях.

Ей мерят давление. Сто семьдесят на сто.

Ей даётся папазол и рекомендация полежать. Она принимает таблетку, запивает водой из графина, ставит стакан на стол и сидит ещё некоторое время.

Потом спрашивает:

— Серафим Ильич. А он мучился?

Ответ даётся сразу и без пауз, потому что паузу в таком вопросе слышно.

— Нет.

— Точно нет?

— Там перепад давления, — говорит фельдшер здравпункта. — Человек теряет сознание раньше, чем успевает понять. Это доли секунды. Я вам как медик говорю: он ничего не почувствовал.

Зинаида Петровна кивает.

Она сидит ещё минуты две, глядя на пакет у себя на коленях, и потом спрашивает то, за чем пришла:

— А во сколько это было?

— В четыре пятьдесят.

Она повторяет — не вслух, а губами.

— Мне бы записать, — говорит она. — Я забываю всё. Я вчера в саду журнал искала, а он у меня в руках.

Ей отрывается листок из рецептурного блокнота. На листке ставится: 12.04.86, 4 час. 50 мин.

Она берёт листок, смотрит на него, складывает вчетверо и убирает не в пакет, а за манжету варежки, глубоко, чтобы не потерять.

— Спасибо вам, — говорит она.

Потом добавляет:

— А то ведь не знаешь, когда поминать. Мне свекровь говорит — по дню поминай, а я думаю, надо же и час знать. Час-то важнее.

Она уходит в двадцать минут одиннадцатого.

В кабинете остаётся: стакан на столе, пустая упаковка от папазола, запах валерианы.

Форточка закрыта. На подоконнике, между банкой с бинтами и гирей, за ночь снова сядет соль.

Глава 7. Одиннадцать

1

Ночью он выпил четыре стакана воды и всё равно проснулся с обмётанным ртом.

Соль стояла в горле третьи сутки — вернее, не соль, а её последствие: слизистая была сухая, язык шершавый, и вода не помогала, потому что вода здесь была из той же земли. Лапин выпил ещё стакан, посмотрел на себя в зеркало над раковиной и отметил, что лицо у него отёкшее и что это тоже от соли.

Отделение полиции занимало второй этаж здания администрации, вход с торца.

Личного состава по штату было девять. Фактически работало шесть: участковый Рыкова, два оперуполномоченных, дознаватель, кадровик, совмещавшая бухгалтерию, и начальник отделения майор Ситников.

Ситников выделил Лапину кабинет — бывшую комнату для разбора с посетителями, три на четыре, с зарешённым окном во двор и с сейфом, ключа от которого не нашли. На стене висел стенд «Разыскиваются», на стенде было четыре ориентировки, из них три двухтысячных годов.

Лапин попросил статистику.

— Какую?

— Всю. С восемьдесят шестого. Учётные формы, сводки, что есть по годам.

Ситников почесал бровь.

— С восемьдесят шестого у нас в бумаге ничего нет. Электронка с две тысячи шестого, до этого — журналы, они в подвале, часть отсырела. Я вам дам, конечно. Только вы мне скажите, что вы ищете, а то я вам два ящика вынесу.

— Я не знаю, что я ищу.

— Ну хоть примерно.

— Примерно — всё, — сказал Лапин.

Два ящика вынесли к обеду.

Подвал был сухой не весь. Журналы за девяносто первый — девяносто четвёртый шли волной, страницы слиплись блоками, и там, где стояли штампы, чернила расплзлись в фиолетовые облака. Лапин разлеплял их черенком ложки, найденной в столе, и работал в куртке, потому что батарею в кабинете перекрыли ещё в марте.

К четырём часам у него были чёрные пальцы и запах подвала в рукавах.

2

К шести вечера он выписал на отдельный лист следующее.

Убийств, статья сто пятая, за период с двенадцатого апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года по четвёртое апреля две тысячи шестнадцатого — ноль.

Он проверил дважды, потому что цифра ноль в такой графе означает не отсутствие преступлений, а отсутствие учёта. Он сверил журналы с электронной базой за десять лет, потом поднял отказные материалы, потом посмотрел статистику смертности в загсе по внешним причинам. Сходилось. Ни одного.

Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, — два случая: тысяча девятьсот девяносто второй и тысяча девятьсот девяносто восьмой. Оба бытовые, оба в состоянии опьянения, оба с явкой с повинной в первые сутки.

Кражи: в среднем девятнадцать зарегистрированных в год на девять тысяч населения. По краю в пересчёте на ту же численность выходило от семидесяти до восьмидесяти.

Разбоев и грабежей за тридцать лет — семь.

Угонов — один, тысяча девятьсот девяносто первый год, машину нашли в тот же день у соседнего подъезда.

Заявлений по семейно-бытовым конфликтам — сорок одно за десять лет, что было втрое ниже среднего по краю и вчетверо ниже, чем в Кизеле, который Лапин знал наизусть и с которым сравнивал автоматически.

Он посидел над этим листом минут двадцать.

Потом достал второй лист и выписал то, что не сходилось.

Самоубийств за тридцать лет — двести шесть.

Он пересчитал. Двести шесть. В среднем семь в год при населении, которое за это время упало с восемнадцати тысяч до девяти. В пересчёте на сто тысяч населения получалось шестьдесят с чем-то против краевых тридцати восьми, причём краевые тридцать восемь сами по себе были одними из худших в стране.

Мужчин — сто семьдесят девять. Женщин — двадцать семь.

Способ: повешение — сто шестьдесят один случай.

Он подчеркнул это число дважды и написал сбоку: «в петлю, не с моста, не таблетки».

Дальше шло то, чего он не видел никогда.

Явок с повинной за десять лет — восемьдесят четыре при трёхстах девятнадцати зарегистрированных преступлениях. То есть каждый четвёртый шёл сам.

А в отдельной папке, которую дознаватель отдала ему со словами «это у нас чудики», лежали материалы по самооговорам. Их было три.

В две тысячи девятом мужчина сорока трёх лет пришёл и заявил, что это он в две тысячи седьмом сбил на трассе женщину. Женщину сбил другой человек, установленный, осуждённый и отбывший срок. Заявителю объяснили. Он пришёл ещё раз через неделю.

В две тысячи двенадцатом женщина шестидесяти одного года написала заявление о том, что она виновата в пожаре в доме по Горняков, четырнадцать. Пожар был от электропроводки, заключение имелось. Она принесла своё заявление трижды.

В две тысячи пятнадцатом подросток семнадцати лет сознался в краже из магазина «Магнит». Кража была, но по камерам её совершил другой подросток, который к тому моменту уже сознался тоже.

Он сложил три листка обратно в папку и завязал тесёмки.

Потом, уже под лампой, разложил двести шесть по месяцам.

Он делал это без всякой цели, просто потому, что руки требовали работы, а голова отказывалась думать: чертил на обороте сводки двенадцать столбиков и ставил палочки.

Февраль — тридцать один. Май — двадцать девять. Ноябрь — двадцать четыре. Январь — двадцать два.

И апрель — четыре.

Он посчитал апрель ещё раз, потому что решил, что пропустил лист. Не пропустил. За тридцать лет в апреле в Верхосолье повесились четверо, и ни один из этих четырёх случаев не приходился на период с восьмого по двадцатое число.

Лапин посмотрел на свои столбики.

В любом городе России, который он знал, апрель и май стоят рядом и оба высокие: весна вынимает из человека последнее. Здесь май был вторым по счёту, а апрель — самым низким месяцем в году, ниже июля, ниже августа, ниже сентября.

Он не стал этого нигде записывать. Он свернул листок со столбиками вчетверо и убрал во внутренний карман, к блокноту.

3

Ситников зашёл в половине седьмого, поставил на стол чайник и две кружки.

— Ну как, нашли?

— Нашёл.

— Что?

— У вас тридцать лет нет убийств.

Ситников сел на стул для посетителей, отодвинув его от стены, и было видно, что он этого ждал и что ему приятно.

— Двадцать девять с половиной, — сказал он. — Я тут с двухтысячного. При мне ни одного. Я в Березниках десять лет отработал, там за неделю бывало три. А тут... — он развёл руками. — Тут люди другие.

— В каком смысле другие?

— В хорошем. — Ситников налил себе. — У меня, знаете, самая тяжёлая работа какая? Пьяных развозить. И то не по вызову, а так, увидел — отвёз. У меня участковый одна на весь город, и она справляется. Одна, Марк Витальевич!

— А двести шесть?

Ситников поставил кружку.

— Это другое.

— Это тоже смерть.

— Это другое, — повторил он, и было слышно, что фраза не его и что он её где-то взял. — Это, знаете, город такой. Тяжёлый город. Мужикам деваться некуда, работы нет, комбинат сокращает с девяносто седьмого. Вот и...

Он не договорил и посмотрел в окно.

— У меня в позапрошлом году сосед, — сказал он через паузу. — Володя. Мы с ним лодку вместе делали, три года делали. В апреле спустили, в мае он повесился. И записки нет.

— В апреле спустили?

— В апреле. — Ситников усмехнулся без всякого веселья. — Знаете, что смешно? Лодка эта у меня стоит. Хорошая лодка. Я на ней не был ни разу.

Он допил и встал.

— Вы про самооговоры смотрели?

— Смотрел.

— И как вам?

— Никак, — сказал Лапин. — Я такого не видел.

— А я видел, — сказал Ситников. — Каждый год вижу. Знаете, что я думаю? Им надо, чтоб их за что-нибудь. Вот прямо надо. Женщина эта, с пожаром, — она мне так и сказала: я, говорит, не спорю, что проводка. Я говорю: ну и всё тогда. А она: а мне-то что теперь делать?

Он забрал свою кружку.

— Я ей выписал штраф за ложный вызов, — сказал Ситников от двери. — Она заплатила и больше не приходила. Так что метод есть.

Он ушёл, а через минуту вернулся и встал в проёме.

— Марк Витальевич. Вы это... — Он подбирал слова и не подобрал. — Вы не думайте, что я тут дурака валяю. Я про цифры знаю. Я, когда пришёл, первое, что сделал, — поехал в Березники, в наркологию, и спросил, чего у нас так с петлями. Мне там доктор говорит: а у вас пьют мало. Я говорю: как мало, я же вижу. А он: по вашей демографии должны втрое больше. У вас, говорит, город трезвее нормы и вешается вдвое чаще нормы, и это, говорит, одно и то же.

— В каком смысле одно и то же?

— Не знаю, — сказал Ситников. — Я не понял и переспрашивать не стал.

В тот вечер Лапин поставил машину не у гостиницы, а во дворе, под окном, и не запер её.

Он сделал это не из соображений следствия, а из упрямства, и всю ночь несколько раз просыпался и смотрел вниз.

Машина стояла.

Утром в ней ничего не пропало, а на лобовом стекле, под дворником, лежала записка на клетчатом листе: «Мужчина вы не закрыли». Почерк был старушечий, с завитками.

По дороге в отдел он специально посмотрел по сторонам.

У третьего подъезда стоял прислонённый к стене велосипед без замка. У ларька на автостанции на прилавке под целлофаном лежали пачки сигарет, а продавщицы не было — она разговаривала с кем-то у соседнего дома, метрах в сорока, стоя спиной. На детской площадке в песочнице лежал совок и рядом с ним пластмассовый самосвал.

В киоске «Ремонт обуви» на двери висела картонка: «Ушла в 11, буду в 12, деньги оставляйте в банке».

Лапин заглянул. В окошке, на подоконнике, стояла стеклянная банка из-под кофе, и в ней лежали купюры.

Он постоял, посмотрел на банку и пошёл дальше.

4

Профсоюзная организация занимала одну комнату в здании управления комбината, на первом этаже, рядом с бывшим красным уголком, в котором теперь стояли столы отдела кадров.

Бухгалтер, Галина Андреевна, шестьдесят два года, работала здесь с восемьдесят четвёртого и была этому рада.

Она выложила перед Лапиным четыре папки-скоросшивателя, и в них лежала история одной строки бюджета длиной в тридцать лет.

Фонд назывался так: «Фонд помощи семьям, пострадавшим при аварии 12.04.1986».

Не «погибших». Пострадавшим.

— Это очень важно, — сказала Галина Андреевна, поймав его взгляд на строке. — Потому что если «погибших», то это по одной статье, а если «пострадавших», то шире. Нам ещё в восемьдесят шестом объяснили, чтоб мы так писали.

— Кто объяснил?

— Ну кто. Юрист какой-то был. — Она задумалась. — Не помню, честно. Я тогда молодая была, я в кассе сидела.

Лапин открыл ведомость за март две тысячи шестнадцатого.

Получателей было одиннадцать.

Вахрушева Л. Т. Кожин П. И. Лунегов В. В. Мальцева Н. С. Пепеляева А. Г. Пикулева Т. Ф. Рыкова Т. Н. Сысолятина Е. М. Тиунов А. С. Чазова М. И. Шульгина Н. П.

Суммы одинаковые: три тысячи двести рублей.

— Одиннадцать, — сказал Лапин.

— Одиннадцать, — согласилась Галина Андреевна.

— Погибло девять.

— Ну да.

Она сказала это спокойно, как говорят «сегодня четверг».

Лапин достал свой лист и положил рядом список из акта восемьдесят шестого года. Он сверил фамилии — по одной, ведя карандашом.

Батуев. Горев. Горев. Гусельников. Кибанов. Мохов. Ошев. Плотников. Тюкин.

Ни одной.

Из девяти фамилий погибших в ведомости не было ни одной.

— Галина Андреевна.

— Да?

— Это семьи погибших?

— Это семьи пострадавших, — сказала она терпеливо, как объясняют не в первый раз. — Погибшим-то что. Погибшим пенсии платили по потере кормильца, государство, у них всё отдельно шло, у нас и дел с ними никаких не было. Вдовы поразъехались, кто куда. Мохова вон в Пермь к дочери, в девяносто первом ещё.

— А эти?

— А эти — которые вышли.

Она сказала «которые вышли», и Лапин записал эти два слова дословно.

— Которые вышли — за что им помощь?

Галина Андреевна посмотрела на него поверх очков.

— Так они же там были.

Она пододвинула к себе ведомость и стала показывать пальцем, по строкам, доброжелательно:

— Вот Кожин, он сам. Вот Тиунов Александр Сергеевич — это сын, отец умер в две тысячи четвёртом, переоформили на сына. Мальцева Нина Степановна — вдова, Мальцев Виктор умер, восьмой год. Вахрушева — вдова. Лунегов — сам, он живой, лежащий только. Чазова — вдова. Пепеляева — вдова. Шульгина Нина Павловна — тоже вдова, у неё муж в девяносто четвёртом.

— А Рыкова?

— Тамара Николаевна? Так Серёжа же её. Тоже вдова, с седьмого года.

— Осталось двое.

Галина Андреевна посмотрела на две оставшиеся строки — Пикулева Т. Ф., Сысолятина Е. М. — с тем же ровным доброжелательством.

— Ну а эти давно.

— Что значит давно?

— Ну с самого начала. Они всегда были.

— Их мужья были на руднике двенадцатого апреля?

— Не знаю, — сказала Галина Андреевна. — Я так думаю, что нет. Пикулев Тамарин — он на фабрике всю жизнь, я его помню, он в семьдесят лет умер, году в две тысячи третьем. А Сысолятины... — Она пожала плечами. — Не знаю. Так они же тоже пострадавшие.

— В чём?

Галина Андреевна подумала.

— У Сысолятиных сын погиб, — сказала она наконец. — Юра. Только он раньше погиб, не в аварию.

— Когда?

— В восемьдесят четвёртом. — Она поискала глазами по потолку. — Или в восемьдесят третьем. Он на втором участке был, там что-то с лебёдкой, я плохо помню, я тогда в декрете сидела. Ему лет двадцать было.

— И поэтому его мать в фонде помощи пострадавшим от аварии восемьдесят шестого года?

Пауза была короткая, и в ней Галина Андреевна впервые за разговор посмотрела на него внимательно, а не приветливо.

— Марк Витальевич, — сказала она. — У нас тут все пострадавшие.

Она закрыла папку и положила на неё ладонь.

— Вы поймите, я вам не мешаю. Хотите — забирайте, копируйте, я вам справку напишу. Только вы же ищете, кто чего украл, а тут никто ничего не украл. Тут тридцать лет одиннадцать человек получают по три тысячи двести, и на эти деньги не купишь ничего.

— А зачем тогда?

— Ну как зачем, — сказала Галина Андреевна. — Положено.

5

Смету он смотрел ещё час.

Расходов было три вида. Первый — выплаты одиннадцати, регулярные, индексируемые, всего чуть больше четырёхсот тысяч в год. Второй — единовременная материальная помощь по заявлениям, суммы от тысячи до пятнадцати, заявления подшиты, всё чисто.

Третий назывался «представительские расходы».

Сумма шла из месяца в месяц ровная, около одиннадцати тысяч, с сезонным приростом в ноябре и декабре. Первичка подшивалась: товарные чеки из «Магнита», из «Пятёрочки», из хозяйственного, изредка из аптеки.

Лапин пролистал чеки за январь.

Крупы. Консервы рыбные. Тушёнка. Сгущённое молоко. Чай. Батарейки, две упаковки. Носки шерстяные, три пары. Свечи хозяйственные.

Он посмотрел на итог, потом на количество, потом на регулярность.

— Галина Андреевна. Представительские — это что?

— Ой, это старое название, — сказала она из-за своего стола. — Это на мероприятия. Двенадцатого апреля же стол, потом чай в ДК, потом ветеранам к праздникам собираем.

— Тут в июле на девять тысяч.

— Ну летом тоже что-то было.

Он полистал ноябрь. В ноябре к продуктам добавлялось другое: тёплые вещи, обувь, керосин для лампы, свечи, аптека. В ноябре две тысячи одиннадцатого — валенки, сорок третий размер, одна пара, восемьсот сорок рублей.

В ноябре две тысячи четырнадцатого — валенки, сорок третий, одна пара, тысяча двести.

— А валенки кому?

— Ветеранам, — сказала Галина Андреевна не задумываясь. — Мы к зиме всегда что-нибудь. Кому валенки, кому термос.

— Одна пара?

— Ну сколько попросили, столько и купили.

Она перевернула страницу и добавила, не отрываясь:

— Вы, если хотите, посмотрите по годам. У нас всё есть, у нас ни одного месяца не пропущено. Даже в девяносто восьмом, когда зарплату не платили, — и то есть. Мы тогда из своих скидывались, у меня и ведомость подшита, с фамилиями.

Она сказала это с гордостью, и гордость была настоящая.

Она сказала это не защищаясь, а с лёгкой досадой на себя, как человек, который не помнит подробностей своей же работы.

Лапин записал: «представит., равномерно, 30 лет, продукты + батарейки».

Он подчеркнул слово «батарейки», сам не зная зачем, — так же, как позавчера подчеркнул пятьдесят два.

6

Валя нашлась в отделе в начале десятого. Она сидела за своим столом и печатала одним пальцем.

— Я в фонде был, — сказал Лапин.

— Ага.

— Одиннадцать семей.

— Одиннадцать.

— Погибших девять.

Валя дописала строку до конца, потом убрала руки с клавиатуры и положила их на стол.

— Марк Витальевич, — сказала она, — по существу заданного вопроса могу пояснить следующее. Фонд создан для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате аварии, круг получателей определялся профсоюзным комитетом, критерии в положении о фонде прописаны в общем виде. Формально нарушений нет.

— Я не про нарушения.

— А про что?

— Про две семьи.

Валя посмотрела в монитор, хотя там ничего не изменилось.

— Пикулевы и Сысолятины, — сказала она. — Я их знаю с детства. Тамара Фёдоровна умерла в четырнадцатом, деньги теперь дочери идут, она в Перми. Сысолятина Елена Михайловна жива, ей восемьдесят девять, лежит.

— За что им платят?

— По решению профкома.

— Валентина Сергеевна.

— Я не знаю, — сказала она. — Честно. Я не знаю, за что им платят.

И это, подумал Лапин, было первое, что она сказала ему за девять дней без заранее приготовленных слов.

Он сел на стул напротив.

— Валентина Сергеевна. Ваша мать в этом списке.

— В этом списке.

— Ваш отец вышел двенадцатого апреля и умер в две тысячи седьмом.

— Умер.

— Она получает три тысячи двести рублей в месяц как пострадавшая.

— Получает.

Валя сидела очень прямо. Взгляд у неё был на его переносице, и не сдвигался.

— Вы у неё спрашивали когда-нибудь, за что?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это её деньги, — сказала Валя, — и потому что я не спрашиваю у матери, за что ей платят.

Она встала, взяла со стола пустую кружку, посмотрела в неё и поставила обратно на то же место.

— Вам чаю? — спросила она.

— Нет.

— Ну и правильно, — сказала Валя. — Он тут с хлоркой.

7

Ночью он не спал.

В полвторого он включил приёмник и минут двадцать вёл по диапазону, и в диапазоне были: турецкая музыка, китайская речь, длинный сигнал точного времени, и потом, между четырьмя и пятью мегагерцами, женский голос, читающий цифры группами по пять. Не тот, что на дороге, — другой, помоложе, с придыханием на второй цифре.

За стеной гудело.

Он выключил приёмник и разложил на кровати всё, что было.

Список погибших — девять фамилий. Ведомость фонда — одиннадцать фамилий. Пересечений — ноль.

Он подумал, что где-то должно быть начало: первая ведомость, первое решение профкома, протокол. Утром он попросил Галину Андреевну, и она полезла в шкаф, и полчаса чихала, и вынесла тонкую папку с завязками.

Первая ведомость лежала сверху.

Одиннадцать фамилий — те же самые, только с другими инициалами, потому что тогда были живы мужья. Сумма — по двенадцать рублей. Подпись председателя профкома. Штамп.

Дата: 3 ноября 1986 года.

Лапин посмотрел на дату и посмотрел ещё раз.

— Галина Андреевна, а до этого?

— Что до этого?

— Авария двенадцатого апреля. Фонд с третьего ноября. Между ними полгода.

Галина Андреевна взяла папку, поднесла к свету, перевернула первый лист, посмотрела на второй.

— Ну, значит, тогда и решили, — сказала она. — Пока то, пока сё. Дело-то небыстрое.

— Полгода?

— Марк Витальевич, — сказала она, — вы восемьдесят шестой год-то помните вообще? Лапин помнил.

Он помнил его лучше, чем ей могло показаться: в восемьдесят шестом ему было четырнадцать, и в Кизеле в тот год ещё работали все шесть шахт, и отец приходил со смены и садился в коридоре снимать сапоги, и на это уходило минут пять.

— Галина Андреевна, а протокол решения есть? Заседание профкома, повестка.

Она полезла обратно в шкаф, и в этот раз искала долго.

Протокол нашёлся. Он был на полстраницы, машинописный, четвёртым вопросом повестки.

«4. О создании фонда помощи семьям, пострадавшим при аварии 12.04.1986 г. Докладчик — председатель профкома т. Ерёмин В. С. Постановили: фонд создать, размер отчислений утвердить, список получателей утвердить (прилагается). Голосовали единогласно».

Первым, вторым и третьим вопросами шли: о подготовке к зимнему отопительному сезону, о выделении путёвок в пионерлагерь «Чайка» на летний период и о приобретении инвентаря для лыжной базы.

Лапин перечитал повестку дважды.

Список получателей, прилагавшийся к протоколу, был написан от руки. Одиннадцать фамилий, мелким ровным почерком с наклоном влево.

Он вышел на крыльцо управления, постоял, глядя на ржавый копёр над крышами, и записал в блокнот, под словом «рубашка» и под обведённым «52», третью строчку:

«почему ноябрь».

Глава 8. Чердак

1

Вода не доходит до кровли восемь метров.

Штрек в этом месте идёт с подъёмом, и подъём этот не предусмотрен проектом, а получился при проходке в семьдесят четвёртом году, когда обходили твёрдое включение. Отклонение зафиксировано в маркшейдерской документации как несоответствие и оставлено без исправления, поскольку эксплуатационного значения не имеет.

Воздушная подушка держится потому, что выработка тупиковая и воде некуда вытеснить воздух.

Объём подушки — примерно двести сорок кубометров.

Аккумулятор головного светильника рассчитан на десять часов непрерывной работы. Он работает четырнадцать, потому что включается не всё время, и садится на вторые сутки, сначала до жёлтого, потом до красного волоска, потом совсем.

После этого темнота полная.

Полная темнота отличается от той, которую человек называет темнотой, тем, что глаз в ней не адаптируется. Через час, через сутки, через неделю она остаётся одинаковой. Ориентация ведётся по стене: правая рука на стене, левая вперёд. Расстояния меряются шагами и запоминаются числами.

От места, где кончается вода, до трещины — сто девятнадцать шагов.

Трещина в кровле идёт наискось, шириной в ладонь, и из неё капает. Капает не рассол. Это та самая вода, которая пришла сверху, из карстовой полости, и она пресная, потому что не успела набрать соли, и она холодная.

Под трещиной ставится каска.

Каска набирается за час сорок примерно на треть. Этого хватает, если пить два раза в сутки и не есть.

Еда: полбуханки хлеба в газете, два варёных яйца, кусок сала, три куска сахара. Хлеб съедается в первые сутки весь, потому что в первые сутки ещё не понятно, что это на девять дней.

Сутки считаются по сну. Способ неточный, и на седьмые сутки счёт сбивается, но не сильно.

Всё это время выработка звучит.

Она потрескивает, ухает, где-то далеко идёт долгий скрежет и обрывается. Вода стоит и шевелится: у неё есть уровень, и уровень этот меняется на сантиметры, и слышно, как она обходит препятствия. Шум ровный, и человек, находящийся в темноте девять суток, перестаёт отделять его от собственного слуха.

На третьи сутки предпринимается попытка кричать.

Крик в тупиковой выработке не уходит. Он возвращается почти сразу, изменённый, и звучит так, как будто кричит кто-то другой и с другой стороны. Попытка повторяется четыре раза с интервалами и прекращается, потому что после неё сильнее хочется пить.

На четвёртые сутки предпринимается попытка стучать по стальному элементу крепи куском породы.

Стук ведётся сериями по три удара, с паузой. Всего проводится, по приблизительной оценке, около двухсот серий за двое суток.

Ответа нет.

На шестые сутки становится ясно, что откачки не будет: если бы откачивали, уровень воды понижался бы, а он не понижается. Он стоит.

На девятые сутки предпринимается попытка выйти по старой сбойке.

Сбойка пройдена в шестидесятых при строительстве первого горизонта, к моменту аварии не используется, на планах числится погашенной. Фактически она не погашена, а заложена деревянной перемычкой, которая сгнила.

Длина сбойки — четыреста двадцать метров с подъёмом.

Она заканчивается вертикальным лазом с металлическими скобами. Скоб сорок одна. Одиннадцать из них вырваны или отогнуты, и на этих участках подъём производится враспор.

Наверху — бетонная труба с крышкой из листа, приваренного в трёх точках. Две точки отходят от ударов изнутри головой и плечом. Третья держится, и лист отгибается ровно настолько, чтобы пролез человек весом пятьдесят восемь килограммов.

Это происходит двадцать первого апреля, во второй половине дня.

2

Первое, что снаружи, — свет.

Он не яркий: пасмурно, четыре часа дня, апрель. Но глаз, девять суток не получавший ничего, воспринимает пасмурное небо как ожог, и человек лежит на боку у трубы двадцать минут с закрытыми глазами и лицом в локте.

Второе — запах. Пахнет мокрым деревом.

Третье — тишина.

Труба выходит в Сушь, в трёхстах метрах от границы живого леса. Здесь стоит серый сухостой без подлеска, и в апреле здесь нет ни ручьёв, ни грачей, ни того гула, который бывает в лесу весной. Снег сошёл, почва голая. Звук шагов не разносится.

Первые сутки проводятся здесь же, в тридцати метрах от трубы, под выворотнем.

Двадцать второго апреля предпринимается переход в сторону города.

Расстояние до крайних домов по Первомайской — три километра двести метров. Переход занимает четыре часа, потому что через каждые двести-триста метров производится останова.

К окраине выход осуществляется в двадцать один сорок, в темноте.

Дальше — сорок минут стояния за трансформаторной будкой у дома номер девять.

Наблюдается следующее: горят окна, в четырёх окнах работают телевизоры, во дворе стоят две машины, у второго подъезда разговаривают женщины, у них с собой вёдра. На балконе третьего этажа сушится бельё. С крайнего балкона слышно радио.

Копёр рудника номер два виден отсюда полностью, и на нём горит красный сигнальный огонь, как горел всегда.

Расстояние до собственного подъезда — сто девяносто метров.

В двадцать два двадцать производится возврат в сторону Суши.

Причины возврата в дальнейшем нигде не фиксируются.

Вторая попытка предпринимается двадцать шестого апреля.

В этот раз выход осуществляется с южной стороны, через гаражный кооператив, где освещения нет и где между рядами можно идти не выходя на открытое.

В двадцать три десять у крайнего ряда обнаруживается открытый бокс. Внутри горит переноска, стоят двое, у них на верстаке бутылка и стаканы. Они разговаривают.

Разговор длится, пока не докуривают, то есть минуты четыре.

Из разговора:

— ...я говорю, а мне: не твоего ума. Всё, говорит, по проекту.

— По проекту.

— Ага. Целик по проекту рубили.

— Так его же теперь не спросишь.

— Вот и удобно.

Пауза. Кто-то сплёвывает.

— Хоронить-то будут?

— Кого?

— Ну этого.

— А кого хоронить, там воды сто метров. Доску повесят и всё.

— Доску ему. — Второй смеётся коротко, без всякого веселья. — Девять человек, слышь. Девять. А ему доску.

— Ну а сын-то при чём.

— А сын пускай спасибо скажет, что тоже там. Ему бы тут не жилось.

Переноска гаснет, ворота опускают. Слышно, как навешивают замок и как они уходят, продолжая разговаривать, но слов уже не разобрать.

В двадцать три двадцать пять производится возврат в сторону Суши.

Больше попыток не предпринимается.

3

Двадцать четвёртого апреля, в темноте, осуществляется проникновение в надшахтное здание рудника номер два.

Здание опечатано пятнадцатого апреля. Опечатаны главный вход, вход в АБК и ворота погрузочной. Не опечатано слуховое окно на северном фронте, потому что до него шесть метров и снаружи к нему нет доступа; доступ есть изнутри, из АБК, через люк в потолке душевой, и снаружи — по пожарной лестнице, у которой отсутствуют нижние три марша.

Отсутствие нижних маршей компенсируется тем, что рядом стоит вагонетка.

Чердак надшахтного здания — помещение длиной сорок два метра, высотой в коньке около четырёх, с деревянными фермами и с настилом из горбыля, положенного не сплошь. Через слуховые окна попадает свет. По углам лежит голубиный помёт слоем в палец, и голуби живут здесь постоянно, штук сорок.

В восточной части чердака устроено место.

Опись места на конец мая:

матрас ватный, снят с топчана в комнате горного мастера, один; телогрейка, найдена в шкафу раздевалки, одна; одеяло байковое, взято с дачи, одно; каска, использовавшаяся как посуда, одна; банка стеклянная трёхлитровая для воды, одна; кастрюля алюминиевая, одна; ведро под нечистоты, одно; спички, восемь коробков; свечи хозяйственные, четыре; фонарь ручной, один; батарейки к фонарю, элемент 373, четырнадцать штук.

Вода носится из Ветлянки, ниже по течению от города, ночью, в трёхлитровой банке, за одну ходку. Ходка занимает час пятьдесят.

Мыться ходят туда же. Вода в Ветлянке в мае плюс шесть.

Днём на чердаке жарко, к июлю под кровлей до сорока. Ночью холодно.

Распорядок устанавливается сам собой в первую неделю и дальше не меняется: сон с рассвета до полудня, лежание до темноты, выход в темноте, возвращение до трёх. Голуби встают в четыре, и с четырёх до рассвета над головой идёт непрерывное шарканье и воркование, к которому привыкают на девятый день.

4

Садовое товарищество «Калийщик-2» расположено в четырёх километрах от города по левому берегу Ветлянки и насчитывает двести шестьдесят участков.

С середины мая на участках появляются люди, преимущественно по выходным.

Проникновение производится в будни, между часом и тремя ночи, не более чем на два участка за ночь, с интервалом не менее недели между посещениями одного и того же участка.

Берётся немного.

Из подпола: банка огурцов, банка компота, банка кабачковой икры. Не подряд — через одну, чтобы в ряду не образовалось пустого места. Крупа — не мешок, а горсть в свой мешочек. Сахар — стакан. Соль не берётся никогда, потому что соли достаточно.

Из построек: инструмент не берётся. Деньги, если находятся, не берутся.

Двадцать девятого мая на участке номер сто четыре в тумбочке обнаруживается приёмник «Селга-404», транзисторный, с ремешком, и к нему шесть батареек в упаковке.

Приёмник берётся.

С этого дня расход батареек ведётся отдельно.

Норма: приёмник — тридцать минут в сутки, фонарь — десять. При таком расходе комплекта хватает на двадцать два дня. Комплект — четыре элемента.

Приёмник ловит: областное радио, «Маяк» и городскую радиоточку, которая работает с семи до восьми утра и с восемнадцати до девятнадцати и передаёт объявления, поздравления и производственную информацию.

Из объявлений за июнь — сентябрь:

о начале продажи учебников; о том, что автобус на Березники с первого июля отправляется в шесть двадцать; о наборе в кружки Дома культуры; о том, что двенадцатого числа каждого месяца в поликлинике ведёт приём врач из Соликамска; о том, что гражданам, имеющим на руках облигации, следует обратиться в сберкассах.

Поздравления зачитываются по фамилиям, с указанием цеха и даты рождения. За четыре месяца зачитывается около двухсот фамилий.

Ни одна из них не относится к четвёртой панели.

Четвёртого мая городская радиоточка зачитывает заметку из областной газеты под названием «Мужество горняков». Заметка занимает минуту с небольшим. В ней говорится, что при ликвидации последствий аварии на руднике номер два горняки проявили выдержку и высокие профессиональные качества, что комиссия завершила работу и что производственный процесс на других участках комбината не прерывался.

Число погибших в заметке не называется.

Заметку переписывают от руки на обороте страницы, потому что газеты нет, а запомнить точно не выходит.

Тетрадь общая, сорок восемь листов, взята на участке номер сто четыре вместе с приёмником.

На первой странице написано:

«Долг».

Дальше идёт список. Он ведётся по датам и по участкам, каждая позиция с новой строки: «17.05. Уч. 61. Огурцы 1 б., крупа перловая ~300 гр., спички 2 кор. 24.05. Уч. 118. Компот вишнёвый 1 б., сахар 1 стак. 29.05. Уч. 104. Приёмник "Селга", батарейки 6 шт., одеяло, тетрадь. 02.06. Уч. 77. Тушёнка 2 б., лук.»

Всего к концу сентября в списке сто девять позиций.

Против семнадцати позиций проставлены цены — те, которые известны по магазину: сахар, крупа, спички, батарейки. Против остальных цен нет, потому что домашние заготовки в магазине не продаются и оценить их не по чему.

Подписи под списком нет. Внизу первой страницы стоит: «Горев Н. И.» и дата.

Ни на одном участке кража не заявляется в милицию.

Кроме списка, в тетради ведётся ещё одна запись — на последних страницах, с конца.

Там столбиком проставляются числа: расход батареек по дням. Дата, потом «ф.» или «п.», потом минуты. Например: «14.07 — ф. 10, п. 30».

Этот столбик ведётся ежедневно и без пропусков до двадцать восьмого сентября.

Двадцать девятого сентября в нём стоит: «ф. 0, п. 0».

5

Восемнадцатого июня на площадку рудника номер два прибывает автомашина с четырьмя людьми.

Прибытие фиксируется в восемь двадцать. Люди производят осмотр устья ствола, замеры и фотографирование, работают до тринадцати часов, обедают в кабине и уезжают.

Всё это время производится нахождение на чердаке, в западной части, за фермой, в положении лёжа.

В одиннадцать сорок двое из четверых поднимаются в АБК. Слышны шаги по бетону и голоса. Один говорит, что здесь надо всё срезать и сдать, пока не растащили. Второй говорит, что не его вопрос.

Люк в потолке душевой не открывается.

Второй случай — двадцатого июля, около двадцати трёх часов: на площадку приходят четверо подростков с двумя бутылками, разводят костёр у бетонного блока, сидят до половины второго, поют, разбивают одно окно.

Один из них мочится на стену в двух метрах от пожарной лестницы.

Третий случай — девятого августа: приходит женщина, одна, днём, стоит у ворот минут двадцать, ничего не делает и уходит.

Больше на площадке никого не бывает.

6

В июле в сухой ветер над городом идёт соляная позёмка.

Белая крупа несётся низко над землёй, вдоль асфальта и вдоль отвалов, и скапливается у бордюров, и в это время в Суши особенно тихо, потому что ветер идёт поверху, а внизу, между сухими стволами, не движется ничего.

Кожа к августу становится сухой. На локтях и на голених появляются трещины, которые не заживают, потому что соль есть на всём. Дёсны кровоточат при чистке пальцем.

Волосы к сентябрю ниже уха. Стрижка производится один раз, в конце июля, ножницами из аптечки, найденной в комнате горного мастера, и получается плохо, после чего попытки не повторяются.

Разговаривать не с кем, и голос за пять месяцев меняется: при первой за долгое время попытке произнести что-нибудь вслух звук выходит сиплый и чужой. Впоследствии вслух произносится только счёт — при переноске воды, при пересчёте банок, при отмеривании минут для приёмника.

Вес на конец сентября — по ощущению меньше, чем в апреле; точных данных нет, поскольку весов нет.

Двадцать пятого сентября на участках начинают закрывать сезон. К третьему октября товарищество пустеет. Подполы вычищаются, банки увозятся в город, окна забиваются щитами.

Двадцать восьмого сентября производится подсчёт.

Наличие: тушёнки — четыре банки, крупы — около двух килограммов, сахара — стакан, спичек — три коробка, свечей — одна, батареек — семь штук, из них два элемента подсевшие.

Расход в сутки при минимальной норме: примерно двести пятьдесят граммов.

Итог подсчёта в тетради не записывается.

В ночь на двадцать девятое сентября вода в трёхлитровой банке на чердаке подёргивается коркой.

Двадцать девятого сентября его видят.

Женщина, собиравшая бруснику на краю живого леса, видит в Суши, метрах в ста, человека, стоящего между стволами. Она рассказывает об этом дома. Дома ей говорят, что ей показалось, и что в Суши никого не бывает, и что нечего туда ходить.

Второго октября его видят снова.

Мальчик двенадцати лет, шедший к трубе с приятелем, видит, как от ручья кто-то отходит в сторону деревьев. Приятель не видит ничего. Дома мальчик не рассказывает.

С первых чисел октября ночи проводятся не на чердаке.

На чердаке к утру минус, а у ручья теплее: вода в нём идёт с отвалов, она солёная и мутная, с жёлтой каймой по краям, и в ней ничего не живёт.

Ручей не замерзает никогда.

Глава 9. Шульгин

1

На одиннадцатый день у него кончились рубашки.

Он взял с собой три, рассчитывая на неделю, и в понедельник обнаружил, что чистых нет, а прачечной в Верхосолье нет тоже. Женщина с ресепшена сказала, что может постирать, но сохнуть будет двое суток, потому что батареи уже отключили.

Он постирал сам, в раковине, хозяйственным мылом, и повесил на спинку стула.

Мыло пахло детством.

В половине одиннадцатого он пошёл на автостанцию, потому что там был единственный киоск, работавший до вечера, и потому что ему надоел кабинет с зарешённым окном.

Кожин сидел на скамейке под навесом.

Перед ним, на расстеленной газете, стояла консервная банка, и в банке было что-то мясное, и трёхногая собака ела из этой банки, придерживая её грудью, чтобы не езила.

— Марк Витальевич! — обрадовался Кожин. — Садитесь.

Лапин сел.

Скамейка была холодная и мокрая с одного края. Собака подняла морду, посмотрела на него, узнала и вернулась к банке.

— Она вас помнит, — сказал Кожин.

— Я ей один раз пирожок дал.

— Ну вот. Тут кто раз дал, того помнят.

Он смотрел, как она ест, с тем спокойным вниманием, с каким смотрят на огонь.

— Я ей мясное вожу, — сказал Кожин. — Мне соседка отдаёт, у неё кот привередливый, не ест это. А эта ест. Ей же в её положении надо, у неё нагрузка на три лапы вместо четырёх, суставы посадит.

— Давно она так?

— С девятого года. Под лесовоз попала на переезде. Ей ветеринар из Березников оперировал, скидывались всем автовокзалом. — Кожин помолчал. — Она, знаете, не жалуется совсем. Вот что удивительно. Другая бы скулила.

2

Собака доела и легла на бок, ближе к ногам Кожина, но не вплотную.

Кожин свернул газету, вытер банку изнутри бумажкой и убрал в пакет.

— Вы всё ходите, спрашиваете, — сказал он. — Я вам, может, скажу одну вещь, а вы уж сами решайте, надо оно вам или нет.

— Говорите.

— Только я вам сразу: я никого не обвиняю. Человека нет, он себя сам наказал, и говорить о нём плохо я не буду.

— Я слушаю.

Кожин посмотрел на дорогу. По дороге ехал автобус, пустой.

— Был у нас Толя Шульгин, — сказал он. — Анатолий Петрович. Мы с ним с восьмого класса. Он в четвёртой панели был, со мной, двенадцатого. Мы вместе выходили.

— Он умер в девяносто четвёртом.

— В девяносто четвёртом, в октябре. — Кожин кивнул. — Сам.

Он сказал «сам» и подождал, будто проверяя, надо ли пояснять. Лапин молчал.

— Так вот, — сказал Кожин. — Толя после аварии стал не тот. Мы все стали не те, но он особенно. Он в лес начал ходить.

— В какой лес?

— К двухбисовому. Это вентиляционный ствол, в Суши стоит, за сухостоем. Он туда ходил постоянно. Не как мы, а именно постоянно — и зимой, и в дождь, и ночью. Жена его, Нина, ко мне приходила: Петь, говорит, он опять ушёл, третий час нет.

— Зачем он туда ходил?

— А вот. — Кожин поднял палец, и в этом жесте не было торжества, а была печаль. — Он говорил, что там кто-то есть.

Собака у его ног вздохнула и вытянула лапы.

— Он говорил это трезвый, — сказал Кожин. — Вот в чём беда была бы, если бы пьяный. Пьяный — ну мало ли. А он трезвый говорил, спокойно так: там внизу человек. Я, говорит, слышу.

— Вы ему верили?

— Я? — Кожин отвернулся. — Марк Витальевич, там сто метров воды. Там гермодверь на клине и бетонная пробка в стволе. Я туда за смену ходил одиннадцать лет, я эту панель знаю, как эту вот скамейку. Там ничего быть не может.

— И что вы ему говорили?

— Что вы, Пётр Ильич, ему говорили.

— А что я мог сказать? Я говорил: Толя, тебе к врачу. Он говорил: я был у врача.

Кожин пожал плечами.

— А в девяносто третьем он захотел с журналистом поговорить. Приезжал такой, из Перми, молодой, по расселению собирал материал. И Толя к нему пошёл.

— Поговорил?

— Не знаю. — Кожин сказал это твёрдо, глядя прямо. — Честно вам: не знаю. Я при этом не был. Журналист уехал, статья не вышла. А через год Толи не стало.

Автобус на дороге остановился, постоял, поехал дальше.

— Я к чему это всё, — сказал Кожин. — Вы теперь нашли там человека. И у меня, знаете, как заноза. Толя ведь один туда ходил тридцать лет. Один. Он там всё знал: где решётка, где лаз, где скобы. И если кто в этом городе мог там что-то... устроить, то это он. Больше никому.

— Устроить что?

Кожин наклонился, поднял с земли щепку и стал ковырять ею шов между плитами.

— Вот вам две вещи, — сказал он, — и я после этого замолчу.

— Говорите.

— Первое. Замок на решётке всегда был. Всегда, сколько я помню. И ключ был у Толи. Он его в девяносто первом менял, сам, свой купил, потому что старый заело. Он мне тогда сказал: пусть у меня будет, я всё равно чаще всех хожу.

Он выбросил щепку.

— Второе. Он батарейки покупал.

— Батарейки?

— Ну да. — Кожин посмотрел на него. — Я в хозяйственном работал, после комбината, с девяносто шестого по две тысячи второй, за прилавком стоял. Так вот, при мне он не покупал, он уже умер. А до этого, мне Валя-продащица рассказывала, он брал упаковками. Она смеялась: Шульгин у нас на батарейках помешался. Приёмник, говорит, у него, что ли, вечный.

Лапин записал.

Он записал это в блокнот, чувствуя, как записывает, и чувствуя при этом то, что чувствует любой человек, у которого сходится: небольшое, тёплое, приятное движение под ложечкой. Он знал это ощущение и знал, что оно ничего не стоит, и всё равно записал.

— И что вы думаете? — спросил он.

— Ну не знаю. — Кожин посмотрел на него почти жалобно. — Я в этом не понимаю. Вы понимаете, вы и скажите. Я вам только говорю, кто там был. А что он там делал — я не знаю и знать не хочу.

Он наклонился и потрепал собаку между ушами, и она подставилась.

— Мне это, конечно, тяжело говорить, — сказал он. — Мы с ним с восьмого класса.

3

Версия продержалась сутки, и это были хорошие сутки.

Лапин работал с одиннадцати утра до половины третьего ночи и за это время собрал следующее.

Шульгин Анатолий Петрович, 1948 года рождения, уроженец Верхосолья. Проходчик пятого разряда. На комбинате с 1966 года с перерывом на армию. Двенадцатого апреля 1986 года — в смене, в четвёртой панели, вышел через сбойку, в списке девяти. Женат, Шульгина Нина Павловна. Сын Олег, 1971 года рождения.

Характеристика 1988 года: дисциплинирован, технически грамотен, в общественной жизни участвует слабо.

С 1989 года — переводы. Из проходчиков в стволовые, из стволовых на поверхность, с поверхности в ремонтную бригаду. Ни одного взыскания.

С 1991 года — больничные. Не длинные, но частые: по три-четыре дня, восемь-девять раз в год.

Медицинская карта в поликлинике сохранилась. Записи в ней шли двумя почерками: разборчивым женским — терапевт, и мелким, ровным, с наклоном влево — фельдшер здравпункта комбината.

Записи фельдшера были короткие и почти все об одном: давление, сон, «беседа проведена».

Далее — материал о смерти. Двадцать второе октября тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, гараж кооператива «Автомобилист», бокс сорок один, принадлежащий Шульгину А. П. Обнаружен в двадцать один тридцать. Записки нет. Возбуждение уголовного дела отказано.

Лапин прочитал материал трижды.

Потом позвонил Тюрину, хотя было поздно, и Тюрин взял на седьмом гудке.

— Ну?

— Есть направление.

— Какое?

— Один из девяти. Умер в девяносто четвёртом, до этого двадцать лет ходил к вентиляционному стволу и говорил, что там кто-то есть.

Тюрин помолчал.

— И?

— И, возможно, там кто-то был.

— Марк, — сказал Тюрин, — покойник тебе как подозреваемый очень удобен. Ты об этом подумал?

— Подумал.

— Ну проверь. Даю тебе на это сутки, потом свернёшь.

Он оказался прав почти до минуты.

4

В четверг, до бухгалтерии, Лапин поехал в Сушь.

Он взял машину, доехал по бетонке до конца, где стоял столб с обрезанными проводами, и дальше пошёл пешком.

Живой лес кончился сразу.

Он потом несколько раз пытался описать это себе и каждый раз получалось глупо, потому что описывать было нечего: просто в одном месте были ёлки, подлесок, прошлогодняя трава и следы птиц на снегу, а через десять шагов ничего этого не было. Стояли серые стволы без коры,

тонкие и частые, между ними была голая земля, и на земле не лежало ни хвои, ни листьев, ни веток — только сами стволы, стоймя.

И была тишина.

Лапин остановился и постоял, слушая. Он слышал собственную кровь в ушах и больше ничего. Ни ветра в вершинах — вершины были, но они не шумели. Ни капли. Ни одной птицы.

Он сделал ещё двадцать шагов и заметил, что идёт тише, чем нужно.

Ствол он не нашёл.

Он знал направление — на северо-восток от края, восемьсот метров, — и он шёл по компасу в телефоне, и он честно прошёл километр двести, и вышел к болотине, которой на карте не было, и обошёл её, и потерял направление.

Тропы не было.

Это было то, что он отметил отдельно и что не давало ему покоя потом весь день: если человек тридцать лет ходит в одно место, к этому месту идёт тропа. Тропа появляется за три года и не зарастает пятнадцать. Тут не было ничего — ни примятого, ни протоптанного, ни просвета между стволами.

Он вернулся к машине через два часа десять минут, весь в белой пыли по колено, и обнаружил, что от пыли на брюках остались разводы, которые не счищаются щёткой.

5

Первое сломалось в бухгалтерии профкома, в пятницу, в десять утра.

Лапин попросил у Галины Андреевны первичные документы по «представительским расходам» за девяносто третий, девяносто четвёртый и девяносто пятый годы и разложил чеки на столе по месяцам.

Октябрь девяносто четвёртого: крупа, тушёнка, сахар, свечи, батарейки — две упаковки.

Ноябрь девяносто четвёртого: крупа, тушёнка, сгущённое молоко, чай, батарейки — две упаковки, носки шерстяные, валенки, сорок третий размер.

Декабрь: то же самое.

Он проверил суммы. Октябрьская была на четыре процента ниже сентябрьской, ноябрьская на девять процентов выше октябрьской, декабрьская соответствовала декабрю прошлого года.

Никакого разрыва.

Двадцать второго октября девяносто четвёртого года человек, который, по версии, всё это устроил и всё это тридцать лет носил, повесился в собственном гараже, — и в ведомости за следующий месяц не изменилось ничего. Ни на неделю, ни на строчку.

Лапин сложил чеки обратно в скоросшиватель и некоторое время сидел, глядя на стол.

Он подумал, что система, в которой смерть организатора не создаёт даже паузы, — это не система с организатором.

Записывать это он не стал.

6

Второе сломалось в тот же день, в подвале отделения, в четвёртом ящике сверху.

Материал проверки КУСП № 214 от 8 июля 1993 года. Тонкий, на девять листов, в картонной обложке, с расплывшимся штампом.

Заявление, лист второй, написано от руки, крупно, с сильным нажимом:

«Начальнику отделения милиции. Прошу проверить вентиляционный ствол 2-бис в районе сухостоя. Считаю, что там находится посторонний. Слышал звуки в июне и июле неоднократно, а также в прошлые годы. Прошу вскрыть решётку и произвести осмотр с фонарём. К материальной ответственности за замок прошу привлечь меня. Шульгин А. П.»

Дальше шло объяснение самого Шульгина на полтора листа, где он повторял то же самое другими словами и трижды писал слово «прошу».

Дальше — рапорт участкового, тогдашнего, о выезде. Осмотрено устье ствола, решётка на замке, следов вскрытия нет, доступ отсутствует, ствол законсервирован в 1986 году.

Дальше — справка из комбината: панель затоплена, отметка воды такая-то, нахождение людей исключено.

Дальше, лист восьмой, — справка на бланке здравпункта.

«По запросу. Шульгин А. П., 1948 г. р., наблюдается с 1989 г. Артериальная гипертензия. С 1991 г. отмечаются нарушения сна, эпизоды тревоги. Со слов жены, злоупотребляет эпилепсией. Высказываемые пациентом опасения относительно вентиляционного ствола носят устойчивый характер и наблюдаются с 1988 г. Расцениваю их как проявление посттравматического состояния, связанного с событиями 12.04.1986. Больной нуждается в наблюдении и поддержке, к психиатру направлять считаю нецелесообразным, т. к. это ухудшит его положение в коллективе. Фельдшер здравпункта С. И. Гиляров».

Лапин прочитал справку четыре раза.

Она была написана хорошо. В ней не было ни одного слова неправды: Шульгин действительно наблюдался, действительно не спал, действительно выпивал, действительно говорил это с восемьдесят восьмого. В ней не было ни осуждения, ни насмешки. В ней была защита.

Постановление об отказе, лист девятый, ссылалось на все три документа сразу и заканчивалось словами «признаков преступления не усматривается».

Лапин посмотрел на дату постановления. Двенадцатое июля тысяча девятьсот девяносто третьего года.

Четыре дня. От заявления до отказа — четыре дня, и за эти четыре дня отработали выезд, запросили комбинат и получили медицинскую справку.

Он подумал, что в Верхосолье вообще-то ничего не делается за четыре дня.

Лапин отнёс папку наверх, снял копии на факсе, который работал как копир, и вернул материал на место, в четвёртый ящик, между отказным по угону mopeda и заявлением о потраве огорода.

Потом сел и выписал на отдельный лист хронологию.

Июль 1993 — заявление. Отказ через четыре дня. Осень 1993 — приезд корреспондента, разговор Шульгина с ним, статья не выходит. 1993–1994 — по словам Кожина, «разговоры». Октябрь 1994 — гараж.

Между заявлением и петлёй — пятнадцать месяцев.

Он посмотрел на эти четыре строки и подумал, что если бы Шульгин что-то у ствола прятал, то последнее, что он сделал бы, — это попросил бы милицию вскрыть решётку и осмотреть с фонарём.

Версия кончилась в этом месте, и Лапин почувствовал, что ему легче.

Он отметил и это тоже. Следовательно не должно становиться легче, когда версия рушится, — а ему стало, и он знал почему: покойник в качестве виновного означал, что в этом городе можно закончить за две недели и уехать.

7

Кожина он нашёл вечером, у подъезда его дома на Горняков.

Тот стоял с пакетом, из которого торчал батон, и разговаривал с соседкой, а увидев Лапина, попрощался с ней быстрее, чем собирался.

— Пётр Ильич. Шульгин в девяносто третьем писал заявление в милицию.

— Писал, — сказал Кожин сразу.

— Вы знали.

— Знал. Он мне сам говорил, что напишет. Я ему говорил: не пиши.

— Почему?

— Потому что толку не будет, а разговоров будет. — Кожин переложил пакет. — Так и вышло.

— Какие разговоры?

— Обыкновенные. Что Толя тронулся.

— Кто это говорил?

— Да все, — сказал Кожин. — И я говорил.

Он произнёс это ровно, не защищаясь и не каясь, как называют вес или расстояние.

— Пётр Ильич, вы вчера подали мне его как человека, который что-то устроил у ствола.

А он был человек, который пытался туда кого-то привести.

Кожин долго молчал. Потом поставил пакет на бетонный отлив.

— Ну да, — сказал он. — Так ведь и то и другое.

— Что «и то и другое»?

— И туда ходил, и заявление писал. Одно другому не мешает, Марк Витальевич. Он же там был весь. Он там жил, у этой решётки.

Лапин смотрел на него и молчал — тем молчанием, которым обычно вынимал из людей вторую половину фразы. Кожин продержался секунд восемь.

— Я его снимал, — сказал он.

— Что?

— В гараже. Я его снимал. Нина прибежала ко мне, я к боксу, ключ у меня был запасной, мы с ним ключами менялись. Я вошёл и снял. — Кожин смотрел на батон, торчащий из пакета. — Мы снимали. Мы вдвоём с Витей Мальцевым, он подошёл потом.

Он поправил себя быстро, почти не сделав паузы.

— Вы его нашли?

— Я его нашёл.

— В материале написано, что нашла жена.

— Ну так она и нашла, — сказал Кожин. — Она первая увидела. А я снимал.

Он взял пакет и стал искать в кармане ключи, и искал долго, хотя карман был один.

— Пётр Ильич. Ещё один вопрос.

— Ну.

— Вы сказали, что тоже говорили, что он тронулся. Кому вы это говорили?

Кожин нашёл наконец ключи и держал их в кулаке.

— Всем, — сказал он. — Кто спрашивал.

— А сыну его говорили?

Пауза была длинная. По двору проехала машина, посветила фарами по стене и уехала.

— Олегу тогда двадцать два было, — сказал Кожин. — Он ко мне пришёл сам. Дядь Петь, говорит, что с батей. Я ему сказал как есть: батя у тебя больной, ему лечиться надо, а он не хочет.

— И что Олег?

— А что Олег. — Кожин смотрел в сторону. — Он с ним потом полгода не разговаривал. Жил в одной квартире и не разговаривал. Нина мне рассказывала: сидут ужинать, и Толя ему что-нибудь, а он молча.

Он сказал это и вдруг быстро добавил, будто закрывая:

— Так ведь я правду сказал. Я же не соврал.

— Не соврали.

— Ну вот, — сказал Кожин.

Он открыл дверь подъезда и придержал её плечом.

— Марк Витальевич. Вы Нину не трогайте, ладно? Ей восемьдесят три. У неё внук на руках.

8

В гостиницу он вернулся в двадцать минут одиннадцатого.

Женщины на ресепшене не было, за стойкой горела настольная лампа, и по телевизору без звука шла реклама. Лапин взял ключ с гвоздика и пошёл вверх.

На площадке между первым и вторым этажом, на подоконнике, сидел мальчик.

Ему было лет одиннадцать. Он сидел боком, подтянув одну ногу, в куртке и в шапке, хотя в подъезде было тепло, и перед ним, прямо на подоконнике, стояла открытая обувная коробка.

В коробке лежали батарейки.

Лапин почувствовал, как у него остановилась рука с ключом.

Их было много — больше сотни, разного размера и разной свежести, некоторые в упаковках, большинство россыпью, и мальчик перекладывал их из одного угла коробки в другой, по одной, и при этом еле слышно шевелил губами.

Лапин остановился.

— Здравствуй.

— Здравствуйте, — сказал мальчик, не поднимая головы.

— Это твои?

— Один мальчик собирает, — сказал он.

— Какой мальчик?

— Ну один. — Он переложил ещё три штуки. — Он их не тратит. Он их складывает, чтоб были.

— Зачем?

Мальчик подумал.

— На потом, — сказал он.

— А где он их берёт?

— Везде. — Он переложил ещё одну. — В подъездах, у пульта которые. В гараже. У бабушки в комодке были. И покупает иногда, если дадут денег.

Он дышал с присвистом и говорил на выдохе, короткими кусками, так что между частями фразы получались паузы там, где им быть не полагалось.

— А чего он их не тратит?

— Он тратит. — Мальчик посмотрел на коробку. — Он раньше тратил. А теперь не надо.

— Почему не надо?

Мальчик закрыл коробку крышкой и прижал её ладонями с двух сторон, как прижимают, чтобы не открылась.

— Ну потому что, — сказал он.

Лапин посмотрел на коробку. Батарейки лежали не как попало: крупные вдоль одной стенки, пальчиковые вдоль другой, и в отдельном углу — те, что в упаковках, нераспечатанные.

— Тебя как зовут?

— Даня.

— А фамилия?

Мальчик поднял голову. Лицо у него было бледное, с тенями под глазами, и дышал он чуть слышно, с присвистом на выдохе.

— Шульгин, — сказал он.

Глава 10. Двенадцатое октября

1

Первым говорит Тиунов, четвёртого сентября, в кабинете номер четыре, между чаем и уходом.

Он говорит это не как сообщение, а как то, о чём вспомнили, уже надевая куртку:

— А берёт кто-то.

— Что берёт?

— Ну хлеб. Я в свою неделю прихожу — а прошлого нет. И в позапрошлый раз не было.

Кожин говорит, что у него тоже не было, и что он думал, будто просто ветром снесло.

Вахрушев говорит, что видел следы, но следы были собачьи.

Мнение группы сводится к тому, что берёт лиса или собака, и что зимой будет видно по снегу.

Обсуждение занимает три минуты и не возобновляется.

Второй раз об этом говорится двадцать пятого сентября, и говорит опять Тиунов.

— Бумага сложена.

— Как сложена?

— Вчетверо. И под камень подсунута, чтоб не улетела.

В кабинете номер четыре после этого некоторое время никто ничего не говорит.

Потом Пепеляев замечает, что на дачах в конце сезона всякое бывает, что ходят пацаны, что в прошлом году у него сняли смородину подчистую. Разговор переходит на дачи и на то, что сторожа в товариществе нет с восемьдесят четвёртого года.

Тема закрывается.

В тетради, которая ведётся с восьмого мая и лежит на второй полке над столом, за сентябрь появляются две записи, обе на полях:

«04.09 — Т. говорит, берут. Обсудили.» «25.09 — Т. — бумага сложена под камень.»

Вторая запись подчёркнута. Больше в тетради об этом ничего нет.

Двенадцатое октября — воскресенье. По графику неделя Чазова, но Чазов с восьмого в Березниках, у него жена в стационаре, и в четверг он сказал, что не успеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.